

книга из серии

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ МРАКА»

антология русского хоррора

КАТАЛОГ ПРОКЛЯТЫЙ



Происхождение мрака

АНТОЛОГИЯ

Каталог проклятий.

Антология русского хоррора

«Перископ-Волга»

2022

Антология

Каталог проклятий. Антология русского хоррора / Антология — «Перископ-Волга», 2022 — (Происхождение мрака)

ISBN 978-5-907578-01-2

Антология русского хоррора, изданная к 130-летию Г. Ф. Лавкрафта. Четыре книги из серии «Происхождение мрака»: «Происхождение мрака», «Зов», «Темные легенды», «Каталог проклятий» Серия «Происхождение мрака» включает лучшие современные русскоязычные рассказы всех разновидностей хоррора.

ISBN 978-5-907578-01-2

© Антология, 2022
© Перископ-Волга, 2022

Содержание

Нелли Шульман	6
Хрустик	6
Алексей Холодный	8
Кокон	8
Павел Виноградов	14
Билли Бонс и Дейви Джонс	14
Грибник	20
Елизавета Аристова	24
Ритуал	24
Александра Ильина	32
Унгайкё	32
Евгения Фальк	38
Старуха и лужа	38
День Колобка	42
Алекс Лоренц	45
Три Лица	45
Вадим Вербицкий	53
Ужасный жребий	53
Ю_Шутова	59
Отступница	59
Галина Евдокимова	69
Псы Гекаты	69
Елена Григорьева	83
Водяной	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Каталог проклятий. Антология русского хоррора из серии «Происхождение мрака»



© Коллектив авторов, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Перископ-Волга», 2022

Нелли Шульман

Хрустик

– Погоди, – малышка в летнем платье вцепилась в руку старшего брата, – надо покормить Хрустика... – Максим закатил глаза.

– Что за ерунду вы придумали, – Катька переминалась с ноги на ногу, – что еще за Хрустик?

Летний подъезд дышал гулкой прохладой. В дворе-колодце стучал мяч. Из раскрытого окна парадной донесся томный голос диктора. Кто-то из жильцов выставил радио на подоконник.

– В Петербурге полдень, – сообщил приемник, – выходные ожидаются жаркими. Температура достигнет двадцати восьми-тридцати градусов...

Наверху загрохотал лифт. Катька немедленно полезла в матерчатую сумку. Среди пупырчатых огурцов и туманно-розовых помидоров блеснул пакет чипсов. Треснула фольга, Максим возмутился: «Что за новости? Положи откуда взяла!»

Катька таинственно сказала:

– Он любит чипсы. Еще конфетки, мармелад, пастилу... – старший брат прервал ее:

– Всякую дрянь. Вы мусорите в лифте, а потом уборщица ругается...

Рядом с железными дверями висело рукописное объявление: «Уважайте культурную столицу! В подъезде стоит урна!» Кто-то, перечеркнув «подъезд», написал сверху «парадное».

Катька зажала в потной ладошке чипс.

– Он ждет деток, – деловито сказала сестра, – он всегда здесь жил, только раньше он спал, а теперь проснулся. Если его покормить, он тебя не тронет...

Из лифта вышла грузная Елизавета Антоновна с третьего этажа. Толстый мохнатый Чапа семенил на затрепанном поводке.

– Максим, – обрадовалась его школьная учительница, – ты помнишь, что на каникулах надо вести читательский дневник?

Подросток вежливо уверил ее: «Разумеется, Елизавета Антоновна. Я прочитал „Тараса Бульбу“ и скоро начну „Капитанскую дочку“».

Катька довольно невежливо фыркнула, однако учительница была глуховата. Обернувшись на закрывающиеся двери лифта, Чапа встопорщился. Оскалив мелкие зубки, песик что-то заворчал.

– Молодец, – рассеянно сказала Тонна, как ее звали в школе, – в сентябре я все проверю...

До сентября оставалось два с половиной месяца бесконечной лазоревой свободы, расписанной золотом летнего солнца. Дверь парадной бухнула, Максим беззаботно сказал:

– Все ваши дурацкие выдумки. Тонна каждый день ездит в лифте, и никто ее не трогает. И вообще, весь дом ездит... – ему пришлось в голову, что он стал часто видеть детей на лестнице.

Катька прикусила нежную губку.

– Взрослых он не тронет, – тихо сказала сестра, – и собачек тоже. Он ждет деток, я же говорила... – Катька чуть не плакала.

– Держи, – она сунула Максиму раскрывшийся чипс, – когда откроются двери, надо кинуть туда чипс и сказать, – сестра тихонько вздохнула, – запоминай: „Хрусть, хрусть, грызь, грызь. Хруст, хруст, брысь, брысь“. Топнуть правой ногой, левой ногой, – Катька исполнила что-то вроде пируэта, – двери закроются, потом откроются, и можно ехать. Только лучше давай пойдем по лестнице...

Максим не собирался тащить на пятый этаж пять килограммов овощей.

– Иди, – сказал он сестре, – я все сделаю, обещаю, – Катька недоверчиво смотрела на него, – и не пялся на меня так. Мне четырнадцать лет, я запомню вашу считалку...

Двери приветливо раскрылись. Катька кинулась вверх по лестнице.

– Топни ногами, – крикнула сестра, – обязательно топни... – Максим не хотел раскидываться чипсами.

– И тем более говорить всякую чушь, – он шагнул в лифт, – когда они успели придумать эту ересь? Той неделей Катька и не заикалась ни о каком Хрустике...

В детстве он сам пугал приятелей Зубастиком, якобы жившим в мусорном контейнере. После сумерек никто из детей к помойке не ходил.

– Потом в соседнем дворе нашли труп, – лифт дружески помигал лампочкой, – именно в контейнере. Но на того парня напал маньяк, и в газете так написали... – маньяка так и не отыскивали.

Красный огонек на шкале перескочил цифру три. Дом был старым, позапрошлого века. Через решетчатые стены лифта и шахты Максим видел развевающуюся косичку. Катька запыхалась.

– Ты бросил чипс, – заорала сестра, – ты сказал считалку, ты топнул ногами... – Максим отозвался:

– Я все сделал. Хрустик меня не тро...

Пол закачался под ногами. Матерчатая сумка повалилась на бок, помидоры раскатились в стороны. В шахте что-то жадно, захлебываясь, завывало.

– Хрусть, хрусть, – тросы лифта лопнули, – грызь, грызь...

Он летел, переворачиваясь, падая в черноту подвала, пробивая бетонные перекрытия, минуя старый кирпичный фундамент, ниже и ниже, в сырость древней глины, в болотистую хмарь небытия, где что-то огромное охватило его голову, круша череп, причмокивая и высасывая, смакуя и облизываясь, пируя на кровавой тризне, вползая в его сознание вечной болью.

Насытившись, раскинувшись в покое, похрустев костями, он стал ждать следующего.

Алексей Холодный

Кокон

Лешка помял в руке липкую пятитысячную купюру. Бумага, напитавшаяся потом, клеилась к коже и липла к пальцам. Искомканный, красновато-оранжевый рисунок морщился затертыми нулями. Пять тысяч словно приbedнялись и скрывали свою ценность, желая остаться при владельце. Только отпечатанный на аверсе памятник безразличным взглядом косился на ступени, по которым Лешка только что поднялся.

Юноша перевел неуверенный взгляд к подъездной двери напротив. От нее несло алкоголем, сигаретами и еще чем-то приторно-сладким, как пахло от сестры Надьки, когда она выходила из ванны. Паренек не любил этот запах, но всякий раз, чувствуя его, ощущал, что конечности до ломоты наполняет странная лень, а область под животом наполняется жаром.

Сейчас с вернувшимися ощущениями совладать было труднее. Полыхающие ноги тряслись, а по спине и рукам бежал пот. Наверное, не вовремя проснулась совесть. Может, правда, не стоит бросать деньги на ветер? Пять тысяч им с однокурсницей хватает на месяц развлечений, походов по паркам и кино. Хрено! Скромную отличницу Лизку давно пора ставить на место: как-никак, угнетает после месяца свиданий быть не допущенным к телу. К тому же неловко до второго курса оставаться девственником и, когда дойдет до постели, по неопытности ударить лицом в грязь.

Юноша сделал нерешительный шаг к двери квартиры, нажал на почерневший звонок.

Изнутри послышались звон цепочек и клацанье замков.

Дверь открыла женщина в коротком халатике. Высокая, черноволосая хозяйка поправила прядь на шее и склонилась к гостю.

Тихо проговорила:

– Здравствуй, милый.

В лицо Лешке пахло странным ароматом духов, напоминающим пряность восточных специй. В воздухе послышалась знакомая солодящая приторность, только ненавязчивая, мягкая... вкусная. Юноша вдохнул запах, но остановил дыхание, ощутив прикосновение к руке: под пальцами скользнуло чем-то влажным и горячим. Лешка одернулся и увидел, что женщина прижала его ладонь к своей оголенной коленке. Выше нее, на бедрах, не было ничего, кроме кружевной ткани.

– Т-так сразу... – проговорил паренек.

– Нет, конечно, глупый! – хохотнула женщина. – Проходи, располагайся. И денюжку вперед, как договаривались.

Хозяйка затащила Лешку в квартиру, внутри которой царил полумрак. Алые, занавешенные шторы пропускали внутрь полоски света, которые, сплетаясь, казались паутиной. Рядом с ней плыли клубы сигаретного дыма, нависшего над мебелью в пыли. Затхлый, прокуренный воздух комнаты наполняли пары алкоголя.

В носу Лешки мерзко засвербело.

– Пф-кф, – он прикрыл нос и отшагнул в сторону, подальше от комнаты. Под ногами громко звякнуло, послышался хруст стекла и тихий шелест. На полу лежали банки, завернутые в черные мусорные пакеты. Их тонкие стенки оттопыривало что-то живое. Но при движении гостя оно застыло. – Что за... – Лешка присмотрелся к банкам, силясь разглядеть силуэт. Но пакет не шевелился, и стекло в нем больше не трещало.

– Ворошится проклятая птица, – послышался кокетливый вздох хозяйки.

Она приблизилась к юноше и зашептала:

– Не обращай внимания. Глупая ворона с окровавленным крылом залетела вчера через форточку. Видать, кот ее какой... подрал, – хозяйка растянула последнюю "л", уперев кончик язычка под ряд зубов. Затем прикусила губу и выдавила: – В-вот она сюда, я же на первом этаже. Кстати, никто не видел, куда ты поднимался?

– Н-нет, нет, – отмахнулся Лешка. – А почему вы ее не выпустили?

– Ну, знаешь. Выброшу я ее под окно еле живую, так она там же сдохнет и под кухней вонять начнет. Так хорошо, когда выброшу ночью, а если днем кто увидит, что я выбрасываю из квартиры окровавленную ворону, что обо мне подумают? Будто птиц мучаю? Сам знаешь, какая у меня в доме репутация. Вот и решила культурно, в мусорном пакете, обтянув тело...

Лешка неловко кивнул.

Репутация у тети Иры правда была нехорошая. Все во дворе знали, чем одинокая молодая женщина зарабатывает себе на жизнь. Местные видели многих мужчин возле ее квартиры и слышали стоны, доносящиеся из щелей в плотно занавешенных окнах.

Паренек устало покосился на алые занавески. Отсюда было видно, как сквозь их замусоленную ткань просвечивают желтые полосы. С деревянной, плотно закрытой рамы свисали ленты отловленных мух. При их виде в голову Лешки начала закрадываться мысль, что кроме алкогольного и сигаретного смрада он дышит трупами насекомых. К тому же было неизвестно, из-за чего они издохли: от ядовитого клея или духоты.

– Теть Ир, может, откроем окна? Жарко, я так не смогу.

– Брось, все ты можешь. Я в мужчинах опытная, за версту вижу потенциал. Мне в этом помогает кровь: грузинка я, Анхара Нугзаровна, – хозяйка гордо кивнула на паспорт, лежавший на комод, – а Иркочкой зовусь для местных, чтобы до папочки-академика не дошло, чем я занимаюсь... – выдохнув, женщина брезгливо сбросила халатик – так, словно он лип к ее разгоряченной от духоты коже. Затем прижалась нагим телом к Лешке, опустилась на колени.

Юноша почувствовал, как джинсы на бедрах оттянулись. Тихо шаркнула ширинка. Сквозь щель расстегнутого замка повеяло холодком. Тело проняла слабая волна тока, бегущая по ногам. Обжигающие, проникающие под кожу разряды заставили в судороге втянуться живот. Лешка ощутил, как внутри все сжимается, выдавливая воздух из легких, и резко задышал – в нос проник сладковатый, обволакивающий пряностью запах. Раздался шлепок и треск мокрой ткани. Хозяйка хлопнула себя по лобку, порвав влажное кружево трусиков.

Холодок в паху сменился мягкой шершавостью: к лобку прижались губы. Теплая мякоть между них обволокла крайнюю плоть, скользнула по упругой головке. Лешка почувствовал, как влажная от слюней глотка обволакивает его орган. Затем сжимает и, сдавив упругими стеночками, выпускает на волю. Комнату наполнил тихий, отрывистый звук: "чвк-сфсфл-лоп! Чвк-сфлф-л-лоп!"

Глаза паренька закрылись.

Он откинул голову, издав сдавленный стон:

– Теть Ир-ра-анхара... – но голос вышел слабым: к горлу словно подступила горячая, клокочущая масса.

Она жаром выхлестывалась откуда-то из паха и, растекаясь по телу, заставляла конечности лихорадочно трястись.

Не в силах бороться с дрожью, Лешка нащупал голову женщины и судорожно прижал к себе.

Горячего лобка снова коснулась приятная, успокоительная влага хозяйкиных губ: Анхара проглотила орган целиком и затрясла головой, массируя кончик стенками горла. Через пару мгновений они сжались, стянули головку, и хозяйка подалась назад, выпустив орган наружу с громким: "чвк-чвкс-с-с"

Лешка ощутил, что его рот наполняют слюни, а по ногам, как лава, течет накаляющий кожу жар. Колени задрожали, и юноша, не открывая глаз, опустился к хозяйке. Обнял ее, при-

тянул к себе, желая прижаться к соскам обнаженной груди. Но вместо горячей женской кожи в тело уперлось что-то холодное и липкое, а по животу будто царапнули острым колом.

Паренек открыл глаза. Хозяйка лежала напротив него, слегка приподняв ноги, и упиралась ступнями ему в торс. Анхара предлагала войти. Терять инициативу было нельзя, чтобы потом не опозориться перед одноклассницей. Паренек вообразил, как раздвигает ее бедра и оценивающе покосился на ножки хозяйки. Наверное, кололи ее ногти. Лешка игриво провел по ним языком, после запрокинул одну ножку на себя и вошел.

– О, милый! – женщина притянула юношу к себе и, впившись в него губами, выдохнула на ухо: – Не так быстро! Мне нужно расплес-ст-с... – голос женщины сорвался, она побледнела. Затем лениво раскрыла рот и вцепилась Лешке в грудь.

Лешка недоуменно дернулся, но ноги Анхары не дали ему отпрянуть. Женщина сильнее вгрызлась в парня, и тот почувствовал, как с укусом жар под кожей проходит, а по телу снова расплывается лень. Тяжелая, плотная, наполняющая конечности нежной ломотой. Не в силах противостоять, Лешка расслабился, стал медленно углубляться. Сильно буравить женскую внутренность перехотелось: она сама, испуская соки, обволакивала твердый орган, липла и втягивала в себя каждый сантиметр.

Теперь Лешка чувствовал себя уверенно, и мысли об ударе лицом в грязь остались в памяти бледным призраком. Как две беловатые вспухшие точки на грудях Анхары. Парень улыбнулся, скользнув по ним взглядом.

– Не сме-е-ейся, о... – Анхара судорожно набросила ему на лицо сползший с тела халатик.

Завязала глаза, прижалась к парню плотнее.

Лешка почувствовал, как ноги хозяйки сжали его спину. Затем скользнули по разгоряченной коже к бедрам, подтолкнули таз к лону. Оно чавкнуло, втягивая влажную головку. Парень вошел глубже – и застыл, ощущая на теле липкие хозяйкины руки. Одна из них потянулась к шее, вторая скользнула к ягодицам, а третья... на спине Лешки выступил пот: он мог поклясться, что ощущает касание трех рук. И ног у хозяйки, по ощущениям, выходило больше.

Лешка попытался одернуться, чтобы разглядеть конечности Анхары. Но женщина плотней сжала его в объятиях. Над головой раздался глухой, стрекочущий шепот: "сплес-ст-с-сти-и-и-скр". К утробному звуку примешалось клацанье. Рядом что-то хрустнуло – и по телу парня растеклась немая ломота: женщина снова впилась в грудь. Ее конечности сильнее вжались в тело. Лешку словно заплетали в липкий, вязкий кокон.

Парень попытался вырваться. Но безуспешно. Тогда на ум пришла идея.

Лешка нежно поцеловал хозяйку в шею, впился в ее грудь, прикусив зубами набухший сосок. Анхара судорожно застыла и на мгновение ослабила хватку. Тогда парень слегка вывернулся и, подавшись вниз, прильнул к ее мокрому лону. Сжал губами клитор, оттянул его – и начал обсасывать, елозя языком по соленой шкурке. Вскоре та выскользнула, таз женщины затрясся. Хозяйка томно застонала, расслабляя ноги.

Конечности Анхары распластались вокруг Лешки. Где-то прошуршало пакетами, и комнату наполнили звуки шлепков, словно десятки босых ступней затопали по мокрому паркету. Рядом послышался треск стекла, заглушаемый цокотом. Странные звуки разошлись по квартире, которую наполнила знакомая пряная сладость.

Но Лешка не хотел оглядываться на звуки: он познал источник аромата. Так пахло влажным лицом Анхары. Солодящий, обволакивающий запах манил к женской внутренности. Притягивал, заставляя запустить между половых губ язык – и высасывать, лакать пряную влагу соков, которыми наполнялось чавкающее нутро.

Лешка впился в лоно, мокрое от пота и слюней. Раздвинул прелые стенки, провел по ним кончиком языка и глубоко втянул в себя женскую влагу. На языке почувствовалась липкая, кисловатая горечь. Парень сглотнул, чувствуя, как с проникающими внутрь слюнками тело

заполняет ток. Колкий, режущий по нервам, он заставлял конечности содрогаться, а органы – в том числе и легкие – сжиматься, выпуская наружу тяжелые вздохи.

Лешка стонал от горького понимания, что вкус женского влагища напоминает запах вышедшей из душа Надьки: такой же полуголой, как хозяйка, и такой же... сочной.

Перед лицом парня чавкнуло. Только сглатывать перехотелось: при мысли о сестре к горлу подступил колючий ком. Парень брезгливо харкнул и завыл, в беспамятстве упав на залитый спермой паркет.

– Ну ты, конечно, чемпион, – Анхара присела на кровать, склонившись над Лешкой, коснулась его груди и ласково провела по коже. – Я ведь хотела получить удовольствие, думала, ты в меня...

Парень лениво приподнялся на кровати. Но ослабленное тело скользнуло вниз, запутавшись в простынях. Мокрые, они липли к потной коже и сковывали движения. Лешка устало отбросил постельное белье, глянул на сидящую рядом хозяйку. Женщина оставалась бледна, как статуя, и в глазах ее по-прежнему читалась неудовлетворенная похоть.

– М-мы были на полу...

– Правильно, дорогой, на полу. А вскоре продолжим здесь, в моих покоях, – фальшиво улыбнулась хозяйка, процедив: – Жди здесь, я сбегаю на кухню и принесу шампанского. И затем ты кончишь мне внутрь. Не волнуйся, не возьму денег за второй раз.

Лешка устало кивнул, проводив женщину взглядом до коридора.

Внутри парня шевельнулась надежда, что хозяйка вернется не скоро. Должна же она закури́ть. Не дай бог, притащится сюда с сигаретой и шампанским. Вдыхать гадкий никотин, заливая в себя спиртное, не хотелось. Вонь сигарет заглушала аромат пряности, которым пахло от Анхары, а сладкий, до мерзости приторный алкоголь перебивал кисловатый привкус, оставшийся после...

Парень сладко облизнулся. Рот его наполнился слюнями, в горле шевельнулся уже знакомый ком. Теперь он расширялся, расплываясь по груди, наполнял все тело. Это была странная наполненность, из-за которой внутри все тяжелело, а плоть становилась тверже. Даже жестче. Лешка ощущал себя мужчиной, впервые за семнадцать лет жизни. Пустой жизни, проводимой в одной квартирке с сестрой.

При мысли о Надьке в груди парня екнуло. Твердость в теле размякла, превратившись в рыхлую массу. Затем скользнула куда-то к тазу и, сгустившись, с жаром опухла ниже пояса. Наполненность иссякла. Ее остаток скопился ниже живота, где при мысли о сестре начинало твердеть в чреслах.

– Извращенец! – парень хлопнул себя по лицу и зажмурился.

Голос казался теперь ниже и грубее, будто у гориллы. Слышать, видеть себя не хотелось, как все, что находилось вокруг. Лешка прикрыл уши простыней, терпя отвращение при касании к собственному телу. И вздрогнул, замерев: под кроватью что-то влажно чавкнуло.

Комнату огласил протяжный хруст, затем цокот – как во время акта... парень напрягся, ожидая услышать знакомые шлепки босых ног. Но вокруг было тихо. Спальню наполнял лишь запах гнили и мокрого полиэтилена. Будто рядом лежало что-то окровавленное, завернутое в мусорный пакет.

Лешка медленно встал, посмотрел под кровать.

На полу валялось большое, размером с человеческую голову яйцо. Часть его скорлупы откололась, внутри проглядывалась розовая внутренность. Мясные стенки тряслись, как желе, и сокращались, засасывая в себя подкроватную сырость. Ее запах возвращался наружу смрадом гнилой утробы со знакомым звуком: чвк-с-схл-лоп! Чвк-сл-лоп! Так хлопала плева, натянутая между мокрых стенок. В яйце прорастало влагище.

Лешку замутило. Пересилив себя, он еще раз посмотрел под кровать. Яйцо не померещилось. Треснувшее, оно выталкивало из себя на пол куски мокрого мяса; плод чем-то разрывался, хотя внутри был пуст, как Лешка. Мысль о схожести заставила парня поежиться, словно это его тело было пустым яйцом, а вместо кожи росла скорлупа.

Лешка брезгливо слез с кровати. Скользнул к коридору, тихо прижимаясь к стенке, чтобы не быть замеченным хозяйкой. Неважно, где она, отсюда нужно было убираться. Вникать в происходящее просто не хотелось. Из-за находки под кроватью стало плевать на шорохи в пакетах, цоканье лапок с хлопанием босых ног. Все это хотелось забыть, выскочив из душной квартиры, да лишиться памяти, утонув в объятиях скромницы Лизки. Она единственная могла уберечь от мерзкой похоти и сладкого, пряного разврата, которым пахло у женщин между ног.

Лешка брезгливо поморщился, приблизившись к кухне. Помимо солодящей пряности, оттуда несло чем-то напоминающим мокрую шерсть. Лешка почувствовал, что стоит на куче влажного меха. Его липкие черные ворсинки покрывали ковер, исчезая возле двери. Здесь что-то проползло: мохнатое, линияющее и... цокающее десятком ножек.

Парень покосился на кровать за спиной, окинул взглядом коридор. Вдали квартиры лежала куча разорванных мусорных пакетов. Из-под полиэтилена выглядывала горстка стекла, испачканного кровью и перьями. Среди них чернели хрящики с остатками раскрошенного клюва. Пол усеивали кости съеденной вороны.

Из прихожей доносился хруст.

Его заглушил шелест мокрой бумаги. Коридор наполнили треск и чавканье, заглушаемое хлопанием босых ног. По кухне что-то перемещалось: нечто голодное, что ело бумажные ленты с мухами и вгрызалось в деревянную раму. Или трещала не рама, а кости...

Лешка представил, как многоногая тварь сейчас распласталась по кухне и пережевывает хозяйку. От этой мысли по спине забегали мурашки – более мерзкие, чем раньше: липкие, с десятками ножек, топот которых отдавался гулом в похолодевших висках. Лешка вытер пот, приготовился бежать: видеть, что стоит за стенкой, не хотелось.

Парень рванул к двери, но почувствовал, как в спину его кольнуло что-то острое. Тяжелое, холодное – словно кол, который ощущался во время траха с хозяйкой. Рядом послышался ее голос, только более хриплый, злой, клокочущий знакомое: "сплес-ст-с-с-сти-и-и-скр". Затем над ухом клацнуло, и Лешку прижали к полу. Резко перевернули вокруг оси. Затем еще и еще, оплетая чем-то липким и плотным.

В поиске спасения взгляд Лешки заскользил по коридору. Наткнулся на страницу упавшего с комода паспорта. Буквы имени "Анхара", отраженные в стекле банок, складывались в "Арахна". Парень замешкался, силясь вспомнить, где слышал это имя. Но мысли не складывались, не хватало даже сил, чтобы вырваться из плотной хватки. Лешка тяжело задышал. Протрезвел рассудком, ощутив, как от разбитых банок несет удушливой пряностью. Теперь она казалась до рвоты мерзкой, выворачивающей наизнанку.

Парень брезгливо поежился и почувствовал, как в обездвиженное тело впираются десятки острых зубов.

Над ухом мокро просипело:

– Будешь кормом моим дочерям!

Нугзаровна подняла парня, развернув к себе лицом. Клацнула двойной паучьей челюстью.

Застрекотала, выпучив десяток желтых глаз:

– Ненавижу вас, двуногое племя мужчин! И мужика-отца особенно. Понесло его при союзе в геологическую экспедицию в Японские горы. Не появись старик там, не повстречал бы мою мать, царевну Йорогумо. Лучше бы меня у матушки оставил, среди паучьих сестер. Жили бы в мире, а так совокупляйся с вами, двуногими, да наполняйся пометом, чтобы продолжить род... – голос Арахны стал тише, последние слова растянулись глухим стрекотом по коридору.

Из дальнего угла зашипело и цокнуло. Что-то с хрустом затопало по паркету. Лешка ощутил, как половицы рядом прогнулись, заметил краем глаза десятки черных лап. Над ухом послышалось шипение, затылок обдало горячей влагой. Лешка брезгливо дернулся, но его тело увязло в липких сетях.

Кокон на спине что-то пробило. Теплая влага с шеи хлынула к затылку. Голова вмиг потяжелела и наполнилась чем-то густым, путающим мысли. Лешка распластался на полу, еле осознавая, что на него капнула паучья парализующая слюна.

Над ухом громко чавкнуло. Еще раз сплюнув, Арахна захрустела челюстями.

Паучиха что-то перемалывала и жевала слова. Но речь ее стрекотом затихала в квартире, доносясь до сознания Лешки отдельными словами.

– Ешьте, дочери.... вас надежда.... продолжить род... мужей в Японию, к нашей ... матери.... она высосет дух... опустошить.... наполнит тела семенем.... тело мужчины – кокон... жертва... влечется к нам... запах, чтобы отдать силу и нами... наполниться!

Павел Виноградов

Билли Бонс и Дейви Джонс

Чёрт! Как же больно просыпаться! Языческое солнце обрушилось на меня и мгновенно выело мозги – если они ещё оставались. Боль, которую я сперва принял за уже привычные мучения от рома, пронизала всё тело. Уши заложил шум океана – проклятого Сундука Дейви Джонса. Он был точь-в-точь как шум в такой розовой ракушке, удивительно похожей на женскую штучку, ну, вы знаете – если плотно приложить её к уху – раковину, конечно, а не штучку.

Жмурясь, чтобы защититься от адова сияния неба и моря, я нашупал горлышко бутылки и сразу же присосался. Нутро окатило пламенным ядом, но безобразная жажда отступила – ровно настолько, чтобы боль сконцентрировалась в ноге. По сравнению с прочими здешними удовольствиями мой раздробленный смердящий костыль был сущей шуткой, но на сей раз чего-то уж слишком дёргал. Вдобавок мои уши сквозь дырки, ромом пробитые в тошнотворном шуме, уловили какое-то хлюпающее ворчание.

Я приоткрыл глаза и увидел, что мою ногу трудолюбиво глодает тощее и грязное существо. Оно с урчанием вгрызалось в гниющую рану, пытаясь одновременно кусать и лизать. Это был Луи, Луи Арот, французский юнга, по доброй воле перешедший к нам с работорговца "Конкорд", который оприходовала наша лихая флотилия. Мальчик грезил подвигами джентльменов удачи, но, конечно, сразу достался содомитам из грязной команды нашего славного капитана Эдварда Тича, Чёрной Бороды. Бедный парень, может быть, и выдержал бы первые два-три года, а потом стал бы таким же бешеным псом, как любой из нас. Но судьба положила ему оказаться здесь и полностью свихнуться от жары и рома. А ведь он даже не принимал участие в небольшом дружеском споре, после которого мы сюда и попали. Вряд ли он протянет долго.

Я несильно саданул его по башке пустой бутылкой и отпихнул здоровой ногой. Мальчуган заскулил и пополз по песку прочь. Спустя несколько ярдов он, шатаясь, поднялся на ноги и заорал, запрокинув почерневшее лицо к безжалостным раскалённым небесам:

– Йо-хо-хо, и в бутылке ром!

Со всех сторон ему нестройно ответили хриплые голоса нашей съехавшей с катушек команды. Ребята давным-давно расползлись по всему острову, благо слишком далеко тут не уползёшь: полторы мили в длину, половину в ширину да невысокий каменистый холм. И ни одного кустика, чтобы укрыться от беспощадного солнца, одни мерзкие колючки. Вот и весь этот риф, Богом забытый Сундук Мертвеца.

И маячат по нему унылые шатающиеся фигуры, а мертвецы путаются среди них, машут руками, скалятся, лакают ром и всячески притворяются живыми. Их становится всё больше, скоро всё тут заполнится призраками, среди которых живые исчезнут, словно их и не было. Ведь живых-то всего пятнадцать – столько высадили с барка "Авантюр", которым я, шкипер Билли по прозвищу Бонс, недолго командовал. И песня родилась в первый вечер, когда мы дружной командой расселись на здешнем пляже и абордажными саблями сшибали горлышки бутылок, провожая взглядами удаляющийся в сторону Северной Каролины флагман флотилии капитана Тича "Месть королевы Анны", увозящий сундучок с золотом, из-за которого всё, собственно, и случилось.

*– Пятнадцать человек на Сундук Мертвеца,
Йо-хо-хо, и в бутылке ром!
Пей, и дьявол тебя доведёт до конца.
Йо-хо-хо, и в бутылке ром!*

Мы горланили это всю ночь и половину следующего дня, пока солнце не расплавало нам мозги. А дальше не могли придумать ни слова. Может быть, когда-нибудь, когда эта история расплзётся среди моряков, кто-нибудь и досочиняет нашу песенку. Но тогда нам всем будет на это глубоко наплевать, а пока достаточно и одного куплета.

Мы орал и глушили ром, благо недостатка в нём не было – с "Королевы Анны" сгрузили ящики с бутылками, множество ящиков, взятых во вместительном трюме голландского торговца. Эти ящики да ещё связка абордажных сабель – вот всё, что оставил нам добрый наш капитан. И в этом была его змеиная мудрость прожжённого дельца пополам с жестокостью тигра-людоеда. Он ведь прекрасно знал, что моряку нужен только ром, что на ром джентльмены удачи просаживали все свои кровью взятые деньги. И он не казнил нас, нет, сэр, он просто дал нам то, что мы сами хотели. Надо ли рассказывать, как видел он будущее? Что морячки на острове, где совсем нет пресной воды, под ужасающим солнцем станут лакать и лакать пламя тростникового сока, пока им не начнут мерещиться груды золотых монет на дне морском, райские девы и адские дьяволы. И вот тогда они возьмут сабельки, которыми очень неплохо умеют махать, да и положат друг друга на пляже, по которому снуют отвратительные мелкие крабы. И тогда этот блудный остров по праву заслужит своё название – потому что всё это из-за сундука, сундука с проклятым золотом. Нет, Тич не был нашим палачом, он был всего лишь торговцем, которому мы задолжали. И он намеревался получить свои проклятые проценты.

Думал ли я, Билли Бонс, в море вышедший, когда мне не было и четырнадцати годков, и первый раз глотнувший рома после первого своего абордажа, который случился через неделю, что когда-нибудь ром, которым я жил, который был мне и мясом, и водой, и женой, и другом, станет так жестоко убивать меня и моих людей! Представляю, как хохотал, отходя от острова, старый чёрт Тич!

Я видел слишком много жестокостей, о которых в доброй старой Англии никто не подозревает, да и сам совершил их немало. Но убей меня Бог, если это не слишком – вот так истязать моряков, вся вина которых в их жадности, а покажите-ка мне не жадного джентльмена удачи... Тич сам виноват, когда близ Чарлстона предоставил нам добивать уже хорошо порванный нашими пушками шлюп, а сам на своей "Анне" погнался за более завидной добычей – неуклюжим барком. Ведь именно на неприглядный шлюп уплывающий в Англию на отдых старый каролинский работорговец погрузил всё своё золото, выжатое из чёрных рабских шкур. Когда я открыл сундучок после абордажа и в лицо мне сверкнуло, я просто обомлел. А старый торговец человеческим мясом (который, надо думать, тоже только удовлетворял спрос на свой товар) совсем опечалился, и, чтобы не расстраивать его дальше, я легонько полоснул его саблей по горлу.

Я, конечно, понимал, что начнётся на борту "Авантюра", когда туда попадёт ящик, но даже не думал, что боцман Грэй так быстро сговорится с коком, который был ещё и командиром абордажной команды. Их тоже было пятнадцать, тех, кто решил избавиться от меня и остальных и уплыть с волшебным сундучком туда, где их не найдёт ни капитан Тич, ни Его Величество король, ни даже морской чёрт Дейви Джонс. Но уж от этого-то спасения нет, настиг он их, конечно, когда все они упокоились на дне его сундука, завёрнутые в грот и обвязанные линём. В общем, Арти Грэй прирезал моего помощника Тома Моргана и, пожалуй, добрался бы до меня, если бы Дарби Мак Гроу не хватил его пришедшимся под руку багром, через что у боцмана из башки выплеснулись мозги. А Дарби мозги вышиб кок – из пистолета. У меня не было времени доставать саблю, я просто схватил паршивца за горло и вырвал кадык. Он ещё и отвратительно готовил. Позже выяснилось, что он прирезал в трюме своего поварёнка – видимо, мальчишка пытался меня предупредить. Ну и всё пошло, как пошло – ребята грызли сталь и глотали свинец, пока из всей команды не осталось нас пятнадцать, выдохшихся, как пеоны на плантациях Мейна.

– Йо-хо-хо, и в бутылке ром!

Мы смотрели друг на друга, прикидывая, продолжать ли делёж добычи или поднять все паруса и нестись отсюда, пока не появился Тич – я ведь тоже решил, что буду проклят, если отдам золотой сундучок в пасть нашего любезного капитана. Но пока мы пилились друг на друга, стало уже поздно – вот она, "Королева Анна", заходит с левого борта, и плещется над ней личный флаг мистера Тича: рогатый скелет с песочными часами в одной руке и копьём в другой, собирающейся пронзить алое сердце. Я часто думал над смыслом этого изображения, и мысли мои были печальными. Славный наш капитан Тич стоял на квартердеке и весь прямо-таки сиял от самодовольства. Напоминал он ходячий арсенал, потому что весь был обвешан пистолетами и размахивал огромным тесаком. Чёрную бороду, заплетённую в косички, разве-вал ветерок. Два зажжённых фитиля, которые свешивались из-под шляпы справа и слева от его лица, дымили немилосердно – капитан любил откалывать такие штучки. Как-то он спустился с перепившейся командой в трюм, зажёг там бочку с серой, закрыл все люки и не выпускал никого, пока его не начали умолять. Просто хотел показать морячкам, что такое ад. Он это хорошо знает, надо думать... Вот такой человек приближался сейчас к нам, и глаза его сверкали так, словно и вправду он сам дьявол из преисподней. За спиной его толпились ухмыляющиеся негодяи из его команды.

– Что, Билли, вздумал обвести старенького папу?! – проревел он мне, когда борт ударился о борт и команда "Анны" попрыгала на палубу "Авантюра". Драться у нас не было ни сил, ни возможности, мы просто стояли и ждали, что с нами будет.

Тич тянуть не стал – всадил пулю мне в ногу.

Теперь я думаю, что, послав нас в погоню за шлюпом, он знал, что золото на его борту и что мы схватимся друг с другом за него. А когда половина из нас прикончит другую, из засады появится он, Тич, и покарает мятежников. Кто выживет, ему было безразлично – он терпеть не мог и меня, и весь экипаж "Авантюра". Это был очень умный и очень-очень злой человек, капитан Тич, Чёрная Борода, и смерть для него не значила ровно ничего.

Да и что ожидать от человека, который заставлял плантаторов выдавать за него замуж юных дочерей, а после первой брачной ночи отдавал их своей команде... Я слышал, что таких "жён" у него было то ли двадцать, то ли тридцать. Помню одну маленькую креолку... Впрочем, это неважно.

Боль была дикой, я и сознание потерял, а очнулся уже на Сундуке Мертвеца, куда меня перенесли, кое-как перевязав. Дела мои были плохи – пуля раздробила кость, и вскоре рана загноила. Но теперь это уже не имело значения.

И ведь сперва всё так и было, как задумал злодей Тич. Парни горланили и пили на острове, и ром всё больше вымывал из них людей. Потом кто-то выругался, кто-то ответил, завизжала выходящая из ножен сталь, пролилась кровь... И тут меня что-то словно толкнуло.

Я сидел в сторонке и, привалившись к чуть менее горячему, чем весь остальной мир, камню, потихоньку потягивал из бутылки. Нога болела, словно её уже зажаривали в аду. Возможно, так оно на самом деле и было. Но когда зазвенели клинки, я резво вскочил. Даже боль вроде прошла. Я опирался на саблю в ножнах, а другая, обнажённая, была у меня в правой руке.

– Джентльмены! – рёв мой был крепок, как в былые дни под штормом или орудийным огнём. – Мы все очень плохие христиане, не читавшие Библию. Мы бесчестные и кровожадные животные, и всех нас рано или поздно ждёт петля, а за ней геенна огненная. Да и поделом нам. Но пока ещё черти не разодрали нас, мы живём в этом проклятом мире и желаем в нём выжить. Вы ведь хотите жить?

Уж не знаю, откуда во мне взялись все эти слова, но ребята молчали и, приоткрыв рты, внимали им, а на последний мой вопрос дружно заорали:

– Да!!

– А коли хотите, – продолжал я, – нам надо перехитрить этого грязного старого чёрта, капитана Тича, который хихикает и думает, что мы тут перережем друг друга, чтобы у его банды не осталось работы. Но мы проведем его за нос, его, ром и самого дьявола! Мы будем сидеть на чёртовом Сундуке Мертвеца, мы будем лакать ром и орать песни. Но будем прокляты, если обнажим наши сабли, чтобы убить кого-то из ближних! Мы и так слишком много убивали. Пусть покоятся наши жертвы, мы больше не прибавим к ним новых. Я всё сказал, а если кто-то с этим не согласен, он будет иметь дело со мной.

– Ну что, джентльмены, – я обвёл взглядом перекошенные безумием и жаждой рожи моих дорогих братьев, – кто-нибудь желает иметь дело со стариной Билли Бонсом?

Никто, конечно, не желал. Я был на одной ноге, но это ничего не меняло – я чувствовал в себе силы для драки. И все помнили ходившие про меня рассказы, например, как я первым прыгнул на борт испанской бригаантины, а в это время наш шлюп оторвало от неё, и я оказался среди пары десятков матросов и торговцев, жаждущих сорвать с меня шкуру. И когда ребятам всё-таки удалось вторично зацепиться за бригаантину, они обнаружили меня с окровавленной саблей над горой трупов, а оставшиеся испанцы сбились в трусливую кучу на корме. Могу сказать, что всё это очень близко к правде.

Вот так я объявил о нашем банкротстве, и так с тех пор мы и жили. Я не знаю, как долго – мы не считали дни. Ночь приносила тяжкий пьяный сон, наполненный смертью и ужасом. До восхода солнца по моему приказу мы растягивали на песке просолённые матросские куртки, на которые оседала роса. Мы слегка размешивали её с морской водой и ромом и делили поровну – я сам наблюдал, как это происходит. На несколько капель больше доставалось совсем плохим – Луи Ароту, Биллу Джуксу, получившему на прощанье от Тича шесть дюжин кошек в уплату старых долгов, и Полу Грейпсу, который, зашибив в камнях спину, еле таскал ноги. А ещё мы ловили чёрных крабов, похожих на огромных тараканов. На вкус они были омерзительны, но мы поедали их с жадностью.

Потом мы разбредались кто куда. Одни оставались на пляже, поближе к ящикам. Пляж ведь был единственным местом на этом клочке суши, где можно расположиться с хоть какими-то удобствами. Кого-то несло к камням на вершине холма – им всё казалось, что там прохладнее. Другие в поисках одиночества продирались сквозь заросли колючего бурьяна и, найдя местечко посвободнее, валились без сил. Но все забирали с собой бутылки, сколько могли унести.

Весь день снаружи нас сжигало солнце, а изнутри ром. Наши истощённые тела впитывали яд без остатка, мы даже не могли слёвывать его, как постоянно случалось первое время. Мы знали, что скоро умрём, и ждали этого с отрешённой обречённостью. Но смерть не торопилась. Вокруг, куда ни кинь взгляд с Сундука Мертвеца, сиял смертельный Сундук Дейви Джонса, терпеливо ожидающий нас. Казалось, нет ничего легче, чем зайти в океан поглубже и нырнуть. Там мокро, темно и прохладно, там перестанет мучить жажда. Но ни один из нас не пожелал такого избавления. Не спрашивайте меня почему, я не знаю.

В какой-то момент, когда солнце выжрало мой мозг более чем наполовину, мне стало казаться, что этот Сундук Мертвеца – единственное, что даёт мне... я не знаю, что такое надежда, но, может быть, оно то самое и есть. Может быть, ром для нас тоже лишь средство? Может быть, он нам нужен затем, что приносит муки, которые прекратит только смерть? Наверное, я всё же сошёл с ума.

Тогда-то к нам и стали приходить мертвецы. То тут, то там возникали нелепые, невозможные здесь фигуры, мужчины и женщины. У одних шкура отваливалась клочьями, другие вообще сверкали голыми костями. Но они ходили, смеялись нам в лицо, дразнили и лакали наш ром. Первое время мы кидались на них с саблями – ведь запрет мой касался только убийства ближних, а не чудищ, хозяин которым чёрт. Но нельзя убить уже убитых, а выпитый ими ром словно бы никуда и не девался. Напротив, казалось, его становится всё больше, словно он

сам был океаном, алчущим поглотить нас. И мы перестали обращать на мертвецов внимание – ведь они не кусаются.

Да, да, всё это были призраки убитых нами людей. Но если они думали нас напугать или заставить страдать, то просчитались – мы уже были перепуганы до смерти и страдали беспредельно. Одно время вокруг меня увивался задушенный мной на "Авантюре" кок, чья голова потешно подсакивала на шее. Он подвывал и щерился мне в лицо мёртвой улыбкой. А я глотал ром и глядел в океан. Потом приходила вереница французов. Как-то мы гнались за торговцем, он защищался, и меня это почему-то очень разозлило. Может быть, потому, что я с утра не имел во рту ни капли рома. После того как мы взяли их, я построил на палубе всех оставшихся в живых – сорок восемь человек – и сам зарубил каждого. А потом нашёл в капитанской каюте прекрасный ямайский ром и одним духом высосал бутылку. Теперь нашинкованные лягушатники таскались передо мной, кое-кто держал под мышкой отрубленные головы. Но я глотал ром и смотрел в океан. И много ещё таких приходило, но лишь малютка-креолка, дочь асьендеро из Гондураса, очередная "жена" Тича... Я перерезал ей глотку, потому что не мог допустить, чтобы над этим ребёнком глумилась толпа мерзавцев. Кстати, с тех-то пор Чёрная Борода и затаил на меня злобу. Но, может быть, она не хотела умирать, может быть, хотела жить несмотря ни на что... Я не желал вспоминать её, глотал ром и глядел в океан.

А потом я отвёл взгляд, и вот передо мной сам капитан Эдвард Тич, и глаза его сияли адовым пламенем.

– Здравствуй, шкипер Бонс, – прохрипел он.

– Здравствуйте, капитан, – ответил я, еле ворочая сухим, как столетней давности собачий кал, языком.

Пришлось глотнуть рома, чтобы сказать ещё:

– Удивительно видеть вас здесь.

Он тоже глотнул из невесть как случившейся в его руках бутылки.

– Чему же ты удивляешься, Билли, – из его пасти вырвалось маленькое облачко дыма. – Я всегда остаюсь со своей командой. Разве не я сидел с вами в трюме, когда там тлела сера? И высидел до конца.

Я пожал плечами.

– Это потому что адово пламя вам не в новинку, сэр.

И тут я заметил, что лицо его – лицо Тича, оплыло, плоть слезала с него, один глаз вытек, показалась глумливая улыбка черепа. А второй глаз вспучился и стал как у лесной совы. И в чёрной бородине застряли водоросли и шевелились морские гады. И воняло от него не как от живого Тича – застарелым потом и перегаром, а как смердит от пролежавшего пару дней на солнышке покойника. И понял я, что это сам чёрт Дейви Джонс пожаловал по мою душу, приняв для этого образ моего капитана. Очень удачный ход с его стороны.

Он понял, что я его узнал.

– Ну что, Билли, – проскрипел он, – вот и пришёл твой час. Твой и твоей вшивой команды.

Дьявол отсалютовал мне бутылкой, глотнул и захохотал, как безумный. Голова его тряслась и дёргалась, словно у Панча.

Я, видать, немного остолбенел. Просто глядел на него, так долго, что стало казаться – сливается он с сиянием океана и окружает мой остров со всех сторон. И всё же он был тут и продолжал надо мной глумиться.

– Ты же всегда знал, что тем и закончится: идти тебе в мой сундук на веки вечные.

Он глядел мне прямо в лицо и ухмылялся, как смерть.

– Ты столько ходил под флагом Тича, но так и не понял, что он обозначает.

Из пустой глазницы выскользнул маленький чёрный краб и спрятался в лохмах бороды.

– Это ведь я на том флаге, – совиный глаз стал бешено вращаться, из пасти опять вырвался дым, – а часы – это ваша жизнь, ваша проклятая жизнь, текущая как песок сквозь мои пальцы.

Он подобрал горсть песка и показал, как у него течёт моя жизнь.

– А сердце – это ваши сердца, – продолжал он, и дым валил из него, – и я пронзаю их, но не когда вы умираете и идёте ко мне, нет, сэр, я уязвляю их сразу, как вы родились. Я помечаю вас, и никто, никто из вас не может стать иным. Вы мои!

Слова его стали складываться в какой-то дьявольский псалом:

– Ты пойдёшь со мной, и вся твоя команда, в мой сундук, где мокро и прохладно, в вечный покой, да не такой, какой хотели, а какой вам дам в доме моём сыром. Йо-хо-хо, и в бутылке ром!

И тут меня взяла ярость, какой не знал я от юности. Я швырнул в него полупустую бутылку, выхватил саблю и заорал:

– Ты всё лжёшь! Прочь с моего острова!

Я рубил его и орал "йо-хо-хо", а он ухмылялся и изменялся, как дым, и корчился передо мной, пока не исчез, полностью влившись в небольшое чёрное пятно на сиянии океана. Пока я пытался отдышаться, пятно всё росло и обернулось идущим к острову кораблём. То была "Месть королевы Анны", и я подумал, что старый чёрт Тич решил поглядеть, как мы тут посекли друг друга, и когда увидит, что его план не удался, спустит на нас своих псов. Но я, шкипер Билли по прозвищу Бонс, не собирался им уступать – это был мой остров, я купил его у смерти и дьявола и заплатил дорогую цену. А теперь они дорого заплатят за высадку на него. Я поднял саблю и пошёл к тому месту, куда должна была причалить "Анна". Я запел "йо-хо-хо", и песню подхватили ребята: безумный Луи, скрюченный Пол, Билл Джукс, вокруг изорванной спины которого вились мухи, рыжий Аллардайс, Израэль Хендс и все пятнадцать человек – пьяная команда Сундука Мертвеца.

Но когда корабль подошёл, мы увидели, что с бушприта его свешивается, ухмыляясь оголённой челюстью, обклёванная чайками мёртвая голова капитана Эдварда Тича.

* * *

22 ноября 1718 года "Месть королевы Анны" попала в засаду, устроенную лейтенантом Робертом Мэйнардом. В abordaжном бою пали Тич и вся его команда. Голову Чёрной Бороды Мейнард приказал подвесить на бушприте захваченного судна и отправился за пятнадцатью пиратами, которые, как ему было известно, находились на рифе Сундук Мертвеца. Тринадцать из них были осуждены и повешены, юнга Луи Арот оправдан. Шкипер Билли Бонс ожидал казни, отсроченной, пока он не выздоровеет после ампутации ноги. Однако за это время король решил продлить срок действия амнистии, и Бонса пришлось освободить. Его выслали в Англию, где хромой калека умер в нищете.

Грибник

"Мудрый лесник всегда берет с собой топор, когда идет по грибы, ведь на него может напасть обезумевший заяц и откусить несчастному голову".

Древнекитайская мудрость (на самом деле, нет)

Продираюсь сквозь свисающие до земли изжелта-зелёные ветви, густо перетянутые толстой паутиной, кишашей откормленными красными пауками. Под ногами сгибают мелкие лесные существа, иных вообще не знаю, а другие так отличаются видом от своих сородичей, что и признать их невозможно. Порой трещит под лапами – то ли деревяшки гнилые, то ли кости, а звериные ли, людские или ещё каких – разницы нет. Прислушиваюсь к лесным звукам – то завоет что-то, то заверещит пронзительно. Кто-то крадётся по моим следам – чую. Но не боюсь – нет в этом лесу зверя страшнее, чем я. Во всяком случае, ещё не встречал. А встречу – долго не проживу...

В общем, лес как лес. Не понимаю, отчего вокруг него такой шум. С тех пор как полвека назад станция жажнула, так и не прекращается. "Зона отчуждения, особая зона, тридцать километров, десять километров..." Везде я тут бывал. В том числе и где горячо. Хотя тут везде горячо – невидимый огонь никуда не девался, притаился только, ждёт случая броситься на остальной мир. Но и здесь есть места, где не просто горячо, а – сильно горячо... Я никаких машинок людских не ношу – я тутошний, ни к чему они мне, я невидимый огонь нутром своим чую. Но туристов тут во многие места не водят. Да и людская команда, сторожащая особую зону вокруг развалин станции, тоже в них не суётся. А я не суюсь туда, где она сторожит – незачем им со мной встречаться. Хотя, если захочу, больше они никогда туда не подъедут. Но мне до них дела нет. Живу себе и живу, грибки собираю, ягодки – это летом. А зимой можно силки ставить. Живности здесь расплодилось – как людей не стало – невидимо: то боброзаец попадётся, то молодой волколюд, а то и змейский олешек. Или вепря на рогатину взять можно. Как повезёт, короче.

Туристов по особым тропинкам водят, да в особых местах – и то не всякий, на нашу красоту глядячи, выдержит, многие с середины назад просят. Страшно им, видите ли... Людаки из контроля вообще на бронемашине к остаткам станции подъезжают, посуетятся там под охраной автоматчиков и тут же домой.

Автоматчики – это правильно. Я сам, например, коли встречу в лесу заблудшего туриста, упрямлю его за милую душу, но специально за людаками не охочусь, как некоторые тутошние. И не всякого из них ещё пуля возьмёт. Всякие твари людакам в лесу угрожают... Хотя немного тут нас. Раньше больше было – почти сразу после эвакуации, когда огонь невидимый немного улегся, стали возвращаться на старые места, хоть по периметру Зона была колючкой опутана – прорывали. Селились в брошенных домах, жили, пока не помирали. Помирали быстро – кто болеть стал, а кого и... того, упрямлю. У некоторых людаков, правда, ещё и дитя рождалось, но лучше бы не рождалось вовсе – с двумя лицами, иль с хвостом там, иль с рогами. Кое-кто из таких выжил и даже потомство дал – эти уж Лешак не приведи какие. Но мы, тутошние, стараемся меж собой мирно жить, друг друга не трогать. Обычно, если что-то такое в лесу повстречается, обходишь его стороной, а оно тебя.

Я сам-то как здесь появился, не помню. Может, родители в суматохе, когда эвакуация была, меня просто в доме забыли. А может, и сам как-то возник – Лешак знает. Главное, выжил я, никто меня не сожрал. Теперь сам сожру кого хошь. Дом у меня хороший, кирпичный, двухэтажный. Хотя на кой ляд мне два этажа... Но видно, не простые люди до взрыва здесь жили – потолки высокие, гараж для их тархтелки, камин на втором этаже, я его зимой иногда топлю

и на угли гляжу, хотя так-то он мне без надобности. Я ведь не мёрзну почти, могу хоть сутки в мороз по чаще бродить. Но угли мне нравятся – светятся они таким пурпурно-золотистым, и на душе становится пурпурно-золотисто и солоно, словно горячую кровь хлебашь.

Мыслю, жило в этом доме какое-то начальство со станции, потому что он как раз в особой зоне вокруг развалин, куда туристам вход воспрещён и где за полвека целая чаща разрослась. Люди из команды сюда тоже не заходят – боятся. Разве что дурной дикий туристишка – бывают тут такие, самовольно проникающие. Эти частенько попадаются – у меня в подвале всегда две-три бочки солонины запасено.

...Ну и грибы этим августом пошли! Один другого краше. Я таких здоровых фиолетовок в жизни не видел. И на каждой шляпке будто лицо в муке корчится, словно кто-то из-под земли их грибницы грызёт, а им больно. Одно удовольствие такой тесаком подрезать. Пропищит и из надреза пурпурный сок брызгает. Они и жареные хороши, и в засолке – горькие, правда, но это мне даже приятно, зато потом всякие вещи видеть начинаешь, говорить о которых невозможно. И голоса. Они мне рассказывают, кто я такой на самом деле, только наутро ничего не помню, кроме золотистых вспышек, багрового пламени, безумных радуг и странных слов: Йог-Сотот.

А в самом деле, кто я такой? Почему я знаю обо всём, что происходит в Зоне? Я не общаюсь ни с людьми, ни с тутошними почти, всё доходит до меня каким-то другим путём. Но я знаю, что был Взрыв и что земли эти для людаков заражены, но для меня безопасны. И что могу даже кое-чем тут управлять: где захочу – тропка проляжет, пройду по ней – она исчезнет. Знаю места грибные, рыбу подманивать в ручьях могу и руками беру. Птицу могу высвистеть, она мне прямо на лапу сядет, а я ей шейку-то и сверну. Или отпущу, коли стих на меня такой найдёт. В общем, живу в своё удовольствие, и лучше Зоны для меня края нет. Да и не мог бы я, наверное, в других краях обитать.

А откуда знаю всё – Лешак ведает. Может, мне эти голоса в грибном сне нашёптывают. Йог-Сотот!..

Ох и грибки! Фиолетовки кончились, пошла целая поляна бледных куколок. У тех тоже личики вроде, да такие детские, печальные. Я их сырыми ем, а как наемся в препорции, долго лежу и слушаю музыку. Нет такой музыки больше нигде. Не из этого она мира. Она мне всё нутро переворачивает. И мимо закрытых глаз проплывают, проплывают золотые светящиеся шары. И уплывают в какую-то лешую даль, в космос, наверное, а то и дальше.

Я не выдержал, тут же штук пять куколок схрумкал. И хорошо!

Кто за мной крался, отстал – струхнул, надо думать. А может, и не по мою душу, может, просто по дороге пришлось. Я гряду себе, грибки в короб собираю и по сторонам не гляжу. А зря. Когда под лапами захлюпало, а потом я по нижние коленки в грязюку провалился, понял, что занесло туда, где и мне не след шастать. Лешак знает, когда это болото появилось, но думаю, после Взрыва. Уж слишком глубоко в некоторых местах, словно в преисподнюю самую ведёт. И меня затянуть может за милу душу. А тут ещё вижу – поблизости монахи кучкой стоят и монотонно своё завывают. Почему монахи – Лешак ведает, но тутошние их все так зовут. Ни туристы, ни людаки из команды их не видели. А если видели, то никому уже ничего не скажут. Они, монахи-то, поодиночке не опасные, но вот беда – одного монаха никогда не увидишь, всё гурьбой они. Это и не звери, и не людаки, больше на длинные острые пни похожи, все густо в паутине да отставшей коре, как в драных мантиях. Завывают что-то на неведомом языке и тихонько так, прям по воде приближаются, ежели в болоте завязнешь. А потом гуртом наваливаются, завоют ещё громче и в самую трясиину тянут. Я лапы-то из грязи тяну, а она липнет, не пускает. И монахи уже близенько. Ну, тут рассвирепел я, ближайшего достал. Он обломился с тихим хрустом, как сухой бодыль. Но остальные всё лезут. Это что же такое, против меня, тутошнего, значит, надумали!

Вот тут я окончательно озлился, перед глазами всё завертелось, музыка в ушах зазвучала, и быстро-быстро золотые шары вокруг замелькали. И я уж ничего не помнил, только лапами

работал во все стороны и из трясины тянулся. А когда всё кончилось, гляжу – ни болота, ни монахов. Стою весь в грязи, без короба, на тихой такой сумрачной полянке, куда никогда не забредал. По краям она огромным папоротником поросла, а сама – мхом, да таким густым, куда там моя шерсть!

А посередке ничком людак лежит. Да даже не людак, а детёныш людской. Беленький такой, голенький, попка – как два холмика во мху. Я аж задрожал от вожделения, в холмики эти вгрызться возжаждав. Только мысль промелькнула: "И откуда он здесь? Как трясины с монахами прошёл?" Но тут же ушла. Редко такая добыча в наших краях попадает. Пускай хоть мёртвый, а сожрать – сожру до косточек, да и косточки обсосу!

Но как подкрался поближе – а я, если хочу, могу тихо-тихо подкрасться, зевнуть не успеешь, а я уж за спиной, – смотрю: не людак это вовсе. Гриб это такой! Вот так вот во мху вырос. Пахнет, правда, незнакомо, но дух явно грибной.

Подошёл, потыкал его – точно, грибок. В полный рост людского младенца годиков эдак двух. А на ощупь упругий, и плёночка скользкая на нём, словно только что из земли вылез. Ну что же, тоже добыча завидная. Щас я его срежу, на кусочки порублю, а потом поглядим, какой-такой он на вкус.

Достал я свой тесак, который из старой пилы сделал, а на рукоять кость людачью пристроил, да под животик-то грибу и подсунул – ножку, значит, срезать. Тесак у меня хороший, острый, каждый вечер точу – как сквозь свежий сугроб проскользнул. И тут гриб завопил и стал подниматься. Я аж отпрыгнул от неожиданности. Стою, тесак выставив, и понимаю – никак он супротив ЭТОГО не поможет.

Оно с воем поднялось на колени, и увидел я, что вся его грудь оплетена грибницей, и волосы его были из нитей грибницы, а там, где должна была быть ножка, которую я срезал, болталась пуповина, из которой хлестала коричневая жидкость, такая смрадная, что даже меня проняло. Оно мучительно отрывалось от земли, не прекращая воя. Я глянул в его лицо и вижу – нет его, просто белёсые наросты вместо глаз и носа. И кое-где жирной землёй запачкано да длинный сизый мох прилип. А гримаса на этом "лице" была такой, что и мне жутко стало. Думал, и рта нет, видимость одна, пупыри грибные. Ан нет: открылся рот, а там вместо языка и зубов – плёнки, как у гриба под шляпкой. И вой, который словно из его утробы шёл, тут же оборвался, когда оно на ноги встало, всё в свисающих грибницах и жиже из пуповины.

Вот тут-то оно рот свой плёночный открыло и сказала:

– Ну вот, Лешак, я и пришёл.

Голос скрипучий, словно не у дитяти, которым оно сначала прикинулось, а древнего-древнего старца. Да ещё какое-то жужжание в нём слышится, словно смертопчёлы поблизости где-то роятся.

Оледенит меня этот голос, тесак из лапы выпал и в мох вонзился. Так и остался торчать костью вверх, будто остов людачий из-под земли выползти тшится.

Стою жду, когда оно меня упромыслит, потому как знаю – и драться с ним, и бежать от него бесполезно. А оно мне:

– Ты же меня сожрать хотел? Так сожри меня, Лешак! Прямо здесь сожри.

Тут опять музыку нездешнюю, нелюдскую, страшную вдруг я услышал, замельтешили светящиеся шары, и все вокруг ЭТОГО сгрудились, сияли ослепительно, но оно всё равно чётко виднелось и кричало – куда там волколюду взбесившемуся:

– Сожри! Сожри! Йог-Сотот больше ждать не может!

Как услышал я "Йог-Сотот", так и снесло мне разум окончательно. Нечувствительно рядом с ним оказался и пастью прямо в его личину вцепился. Плоть под клыками захрустела, горечь пасть наполнила, и сок коричневый брызнул.

И тут услышал я хохот. Это ОНО хохотало, а чем – и Лешак не знает. Потому что сожрал я его личину за секунду и за шею принялся. Вкус был мерзкий, но какой-то влекущий – до

страсти, корчишься, но жрёшь, словно старую болячку расковыриваешь. И пока я его всего не сожрал, так, что только коричневые брызги во мху высыхали, всё слышал хохот под страшную ту музыку. Потом на четвереньки рухнул и в остаток пуповины, что, коричневым сочась, торчал изо мха, зубами вцепился, вырвал и заглотил, как змею.

Тут папоротники затрястись, стали гнуться в разные стороны, как живые, а по мху волны пошли, словно под ними что-то огромное ворочалось. А сам я стал будто и не я. Бездна во мне какая-то открылась. Стою посередине поляны, весь в золотистом сиянии, и слышу голос. И вроде знаю, что это сам вещаю, а голос-то не мой, скрипучий и жужжащий – голос той твари, которую я пожрал. И слова говорю такие, каких сроду не произносил и не ведал:

– Так говорит Альхазред: Йог-Сотот суц во всех временах и во всём пространстве. Он – всезнающий бог, силой своей превосходящий Азатота, а мудростью – Йига. Душа Азатота обитает в Йог-сототе, и он подаст знак Древним, когда звезды укажут время их прихода; ибо Йог-сотот – это Врата. Да вернутся сквозь них в мир сей жители Пустоты, когда завершится оборот колеса! Ей, гряди! Азатот! Дагон! Ньярлатхотеп! Шуб-Ниггурат, Великий Козёл с Легионом Младых! Врата открыты! Врата открыты!

И пока вещал я это, бездна во мне наполнялась извивающимися щупальцами и страховидными ликами, которых в этом мире миллионы лет не видели. И знал я, что Зона воспылала невидимым огнём и выжгла всех людаков, которые в ней были. А по всему миру летали золотые сияющие шары, и от них взрывались станции, и поднимались из подземелий и морей ракеты, несущие во все концы мира ядовитое пламя.

Рушился мир, тот, что за Зоной. И скоро, когда улягутся смертельные облака и весь воздух будет полыхать невидимым пламенем, родится новый мир, с новыми хозяевами.

И каким будет тот мир – Лешак знает.

Елизавета Аристова

Ритуал

Я уже и не помню, откуда взялся этот бегемот. Игрушка из глубокого детства. Маленький, меньше ладони, резиновый. Пищалка на брюхе давно выпала, и теперь бегемот лишь бессильно втягивал воздух, если нажать и отпустить.

Раз втянул, два втянул. Отличное средство релакса для тридцатилетнего дядьки. Я мысленно поморщился, опять это слово "дядька" применительно к себе – а что поделать, если лысина проклюнулась так рано и в зеркале потухший взгляд прежде ярко-синих глаз.

Они будто выцвели с годами. "Не вы одни", – мысленно сказал я им, возвращаясь взглядом к бегемоту, который тоже потускнел со временем. Идем на дело. Он уютно примостился в кармане, а я, закутавшись в пальто, направился в парк.

В первый раз всегда сложно. Выждав момент, пока мамаша, щебеча по телефону, отвернулась, я поманил пальцем маленькую девочку. Заговорщицки достал из кармана игрушку.

– Знаешь, что это? – малая покачала головой, на лице отразилось подобие интереса. – Это необычный бегемот, он волшебный. Дунешь в отверстие – найдешь вечером подарок под кроватью.

Детская площадка отступила куда-то на второй план. Я нервно покосился вбок – мать девочки все еще была увлечена разговором.

– Какой хочу? – уточнил писклявый голосок. – Новый телефон?

Вот же поколение. Я убедительно, как мне показалось, улыбнулся и кивнул. Девчонка взяла игрушку из рук, повертела и поднесла к губам. Дунула и бросила бегемота на асфальт. Я вздрогнул, почему-то меня это сильно покорило.

– Не надо с ним... так.

– Да ну тебя, – она высунула язык и убежала обратно на качели.

Я подобрал бегемота. Кажется, если девочка и поверила мне, то только в первые две секунды. Ушлые они уже в этом возрасте, знают, что чудес не бывает, да и внимание их трудно удержать. Но она все же вдохнула в мой талисман кое-что важное, и это главное.

Год своей будущей жизни. Всего-то годик, никто не узнает, никто не заметит. Сколько ей было суждено, восемьдесят или семьдесят девять – так ли важно в этом возрасте? Вон какая цветущая. Я быстро поднялся со скамейки и зашагал домой.

"Донор, донор, я акцептор", – бабуля сказала, надо придумать собственную мантру, иначе не сработает. Поборов безгливость, я приложился губами к отверстию в резине и с силой нажал на бока бегемота. Втянул воздух с привкусом резины, погонял во рту, проглотил. Метнулся к зеркалу.

Нет, лысина меньше не стала. Ну, может, на пару миллиметров. Глаза – да, оживились, исчезли морщинки вокруг, что наметились в том году. Родители наградили меня не самой хорошей генетикой в плане внешности, зато отличными зубами. Я ощерился почти во все тридцать два. Работает, значит!

...Люблю свою бабулю. Одна она у меня осталась. До смерти родителей мы не особо общались, что-то там они не поделили. А теперь это мой единственный родной человек.

Она была рада приветствовать меня две недели назад.

– Ну здравствуй, внучок, – я огляделся: обычная хрущевка, с кухни тянет выпечкой. Кажется, я не был здесь уже лет десять. – Да ты проходи, что как неродной.

Неловкость исчезла быстро, после тарелки супа. Мы с бабулей сидели над кружками с чаем, и я рассказывал свои нехитрые рабочие новости. Подняв глаза на полуслове, заметил вдруг, что она разглядывает мое лицо.

– На отца похож, – вроде бы очень семейные слова, обычно звучат комплиментом, да только отец мой был далеко не красавец. – Девушка-то есть у тебя?

Нету. Слова прозвучали, словно констатация моей ущербности. В бабулиных глазах читался мягкий упрек: мол, мужчине надо продолжать род. Обычно во мне рождалось стойкое чувство сопротивления в ответ на попытки обесценить мою жизнь, тыча на отсутствие семьи, но сегодня я разомлел после вкусной еды. И неожиданно растекся откровениями.

– Да они даже на меня не смотрят. Спортом занимаюсь три раза в неделю, а толку? Вон на голове уже проплешина, и щеки обвисают. Да кому я такой?..

Выплеснув горечь, я отставил пустую кружку в сторону. Удивительно, но мне стало легче. Правду говорят, не стоит все держать в себе.

– Отец твой, – прервала бабуля паузу, – за ворожею меня считал. Опасался, потому и дочь мою супротив настроил в итоге. Да только я так скажу, внучок: чтобы против крови своей – никогда к лукавому не обращалась. Потому, коли доверяешь, помогу тебе. А ты – язык за зубами да сделаешь, как велю.

Я заинтересованно кивнул. Оно пусть и сказки, а было интересно. Вот тогда-то и выудил из недр сумки бегемота – таскал с собой как нелепый талисман, привычка, оставшаяся со школы. Бабуля пошептала над ним и деловито вернула обратно.

– Мантру не забудь, – сказала на прощание. – Ну и про меня не забывай. Родная кровь дороже золота.

Не знаю, когда именно поверил по-настоящему. Да так, что решился опробовать. Но теперь бегемот, уже нечто большее, чем игрушка, примостился в изголовье кровати, а я нырнул под одеяло. Интересно, подумалось вдруг, закатит ли та девчушка истерику родителям, не найдя под кроватью поутру новенький смартфон, расскажет ли о странном мужчине в парке?

Или давно выбросила меня из головы, как и все прочие?

Следующие две недели я примерялся к новой "жертве", коллеге лет двадцати-двадцати двух. Бабуля упомянула, что главный критерий отбора – не перегнуть возрастную планку. "А то еще постареешь обратно замыслу". Планка была интуитивной, потому что "есть и молодежь хуже стариков", но эта моя коллега просто сияла здоровьем и каким-то еще наивным энтузиазмом.

Поздоровавшись, она проскочила на свое место. Если ребенка можно было просто обмануть, тут требовался план похитрее. Я решил завернуть свои намерения в романтический флер. Мало ли глупостей, о которых можно попросить, хихикая и дурачась наедине. Даже дунуть в надувного бегемота. Еще, и еще, и еще.

Вот только до реализации плана мне требовался месяц терпения, а с учетом внешности и все два. И вагон слепой самоуверенности. А может, вообще ничего не выгорит. Но все лучше, чем возвращаться на детскую площадку – страх быть неправильно понятым накрыл с опозданием, я вздрагивал, представляя, как в следующий раз чей-то отец прикладывается кулаком по моему лицу. Не совсем я еще заматерел, охотиться в открытую без дрожи в коленках. Значит, требовался другой путь.

– Не хотите в обеденный перерыв выпить кофе? – я пошел ва-банк, подойдя неслышно к столу коллеги. Зная, что на меня сейчас смотрит весь офис. – Посидеть по-дружески.

Она неожиданно тепло улыбнулась, и сердце ухнуло куда-то вниз. Мне еще никто из девушек так не улыбался. На секунду я забыл, где и зачем нахожусь.

– Отчего бы и нет?..

Удивительные вещи происходили в следующие дни. Катя оказалась очень милой в общении и отзывчивой на внимание – кажется, я ей симпатизировал тоже. Новизна этого чувства

обжигала. Пару раз я заскочил к бабуле в гости, остальное свободное время мы с Катей гуляли и сидели в небольших ресторанчиках, узнавая друг друга все больше. И лишь небольшой отрезок перед сном принадлежали сами себе, разделенные несколькими станциями метро.

– Втюрился, – обреченно сообщил я бегемоту, ложась очередным вечером в кровать. – И что теперь с планом делать?

Тот блеснул нарисованными глазками, а я вздохнул. Катя любила вишневое мороженое, оно продавалось не везде, зараза. Фильмы про путешествия, про космические – особенно. Катя, Катя, Катя... паразитом вклинилась в мои мысли, заставляя чувствовать преждевременную вину.

Однажды она не надела куртку, уповая, что уже весна. В итоге шла в моей – нагрелся дождь, и в тот момент, подставляя лицо каплям, за руку с совсем уже не просто коллегой, я впервые почувствовал себя красивым. Словно дикий зверь, самец во главе своего прайда.

Мне даже не было холодно.

Дни шли за днями, а я все не решался пригласить Катю зайти. То, что это случится рано или поздно, мы уже оба понимали. Сперва мне стоило определиться с тем, чего хочу на самом деле. Желание выглядеть достойно рядом с такой девушкой не отпускало, хотя теперь метода казалась постыдной. У любимых не воруют. Сердце, время, даже нервы порой – да, но не такое.

Ударом под дых было то, что бабуля стала сдавать. Проводив в очередной раз Катю до дома, несмотря на поздний час, я решил заехать по родному теперь адресу. Шаркая, бабуля прошла до стола, морщинистые руки расплескали половину кружки. Я благодарно принял чай, стараясь не показать вида, что в смятении.

– Это хорошо, что девушку нашел, – шепнула она одобрительно. – Ты не бойсь за нее, крепкая уродилась, здоровая. И по судьбе долго отмеряно, дольше, чем тебе. Бери лет пять, авось и со мной годиком-другим поделишься, – бабуля засмеялась, но смех перешел в кашель. – Старая уж я, а внука бросать не хочется.

– Ба, – я невольно отшатнулся. – Но пять лет – это грабеж! Я ее люблю как бы!

– "Как бы", – передразнила бабуля беззлобно. – Пуд соли не съели, а уже утверждать. Залежался твой талисман. Так и сила его пропадет, без внимания-то оно все пропадает.

Мне стало стыдно и жаль себя одновременно. Все должно было быть проще.

– Да и подсобила я тебе немного, – с сожалением призналась бабуля. – Не морок, конечно, на девчонке, но видит она в тебе красивое, прочего пока не уразумет.

Я словно острую кость проглотил. Вот оно и становится проще.

У меня не было оснований не верить бабуле. Она могла то, чего не могли другие. И я чувствовал особую душевную связь с ней, моим единственным оставшимся близким человеком, которого так несправедливо игнорировали мать с отцом. А все из-за каких-то предрассудков.

– Хочешь, чтобы я зашла? – переспросила Катя следующим вечером, пока я нервно сжимал ключи в кармане куртки. – Поди скажешь, цветы полить надо?

Ее взгляд смеялся, и я через силу улыбнулся в ответ. Все прошло как нельзя лучше, и через пару часов, без пяти минут полночь, мы лежали в обнимку под одеялом. Бегемот прилежал под подушкой.

– Знаешь, – прошептал я, – у меня есть один талисман. Глупо, конечно, но когда в моей жизни случается что-то очень хорошее, вот как сейчас, то я дую в него, чтобы сохранить этот момент навсегда в своей памяти.

Катя крепче сжала мое плечо, показав, что слушает. Я запустил руку под подушку и достал бегемота.

– Давай поделим этот момент? Сперва ты, потом я.

Вот и свершилось. Дыхание перехватило, пока Катя бережно сжимала пальцы вокруг старой игрушки.

– Ну хорошо, – согласилась она так же шепотом. – А как зовут его, твой талисман?

Я пожал плечами, невольно улыбаясь, как дурак. Предвкушение обновления отдавалось в кончиках пальцев. Скоро, очень скоро проведу рукой по затылку и нащупаю свой жесткий ежик – ведь это пять лет назад началось? Когда время внезапно ускорило свой бег. Бабуля права, Катя действительно в хорошем тонусе, она не заметит. А потом бабуля сможет снять свой недоморок, и моя девушка – моя девушка! – уже безо всякой мистики увидит рядом подтянутого мужчину.

Не дядьку.

– Тогда я назову, – Катя хихикнула. – Давай его будут звать Кошмарик.

Она резко дунула в игрушку, потом еще и еще. После пятого раза я испуганно вырвал бегемота из рук. Сердце стучало. Отчего-то стало страшно.

– Ну все, спать пора, – я спешно вернул бегемота под подушку. – А то вставать рано.

Вдохну годы жизни потом, когда Катя уйдет поутру. Та быстро свернулась калачиком и заснула, а я продолжал лежать в темноте, не в силах закрыть глаза.

Срубило меня под утро.

* * *

– Ты никогда не приходил так рано, – довольно проворчала бабуля. – С уловом как-никак?

Я неуверенно кивнул. События ночи не выходили из головы, машинально я погладил пальцем бегемота в кармане.

– Взял пять лет. Точнее, сама отдала.

Собственный голос прозвучал отрешенно, ожидаемого стыда не было – так чувствует себя сторонний наблюдатель. Констатация факта. Я протянул игрушку бабуле, но та покачала седой головой.

– Не надо со мной делиться. Обирать собственного внука не хватало еще. Я же так, к слову пришлось. Да и лучше мне уже.

Это было правдой. Сегодня бабуля наливала мне чай привычно-уверенными жестами. От мысли, что Катя ждет меня в машине (заверил ее, что к бабуле я на минутку, справиться о здоровье, и непременно познакомлю их позже), сердце наконец-то болезненно сжалось.

– А она, – я колебался, – сильно изменится? Внешне. И вообще...

– А почему знать? – бабуля пожала плечами. – Я одно скажу, мне твое благополучие дороже, нежели какой-то девчонки. Да и коли дорог ей, помнишь, как говорится? Все напополам делить надобно.

Ну да. И печали, и радости, да только про здоровье и срок жизни речи в народной мудрости не было.

– Не могу решиться, – признался я, отставляя недопитую кружку в сторону: "минутка" давно истекла, и пора было возвращаться в машину. Да и пришел я не за чаем, а за бабулиной уверенностью. – Наверное, и не решился бы изначально, если бы ты не сказала о морoke. Ну что Катя во мне хорошее видит. Вот и думаю, может, не очень-то она меня любит? Тогда решусь.

Бабушка понимающе кивнула.

– Не соврала я, если ты об этом. Навела на тебя не приворот, но легкий флер – так молодежь говорит? Знала, что оно пригодится, что бы ни задумал. Ну а теперь ступай с богом, пора уж. Крепчай, люби и позволяй любить себя другим. Но не теряй головы.

Бабушка осенила меня крестом, и я благодарно сжал ее руку. В голове промелькнула мысль, насколько вяжется наш ритуал с тем, что угодно богу, но через минуту я уже скатывался вниз по лестнице.

Бегемотик в ожидании сидел в кармане. Все утро и весь долгий рабочий день. Я знал, он терпеливый, он умеет ждать. Нарисованные глаза словно бы говорили: "Не бойся", и вечером, когда мы остались одни в квартире, я наконец поставил его перед собой на журнальный столик.

Через пять минут после того, как проводил Катю на такси, стараясь в деталях запомнить ее лицо. Одновременно пытаюсь запретить себе это, чтобы не сравнивать и не терзаться, когда задуманное случится.

Вот интересно, ведь в резиновом тельце сейчас намного больше Катиного, чем меня самого. И все же бегемотик оставался мне предан, игрушечный свидетель непростых решений. Была не была! Я протянул уже руку к столику, когда лежащий рядом мобильник завибрировал.

Номер был незнакомый, и я поколебался. Отвечать ли? Да еще в такой момент.

– Да?

Голос был женский и сбивчивый, услышав имя бабули, я в ужасе замер.

– Вот только скорая подъехала, – тараторила та, что представилась соседкой. – Такая женщина была добрая, ваша бабушка... нам так жаль, примите соболезнования... оставила ваш номер на случай чего...

– На случай чего?! – я сорвался в крик, стиснув трубку до хруста в костяшках. – Говорите, ну!

В трубке повисло молчание, видимо, соседка на секунду растерялась. Впрочем, она все уже сказала. Я выронил сотовый на пол и съехал на колени вслед за ним. Теперь лежал калачиком, оцепенело слушая, как из динамиков доносится приглушенное "Алло? Алло!"

Наконец отбой. Лишь тогда я закрыл глаза и позволил себе разрыдаться.

* * *

Катя все время была рядом. На похоронах, поминках. Она помогла с организацией, потому что я оказался к этому совершенно неспособен. Дни были жесткими, но терпимыми, как переваренное яйцо. От этого я чувствовал предательство перед бабулей, недостаточно скорбел, на мой взгляд, имел свойство отвлекаться на другие вещи: кое-как на Катю, работу, прочистку засора раковины на кухне.

Где бабуля, а где бытовуха? Впрочем, она сама бы сказала, мол, мужчине негоже жить в неустроенном доме. Слезы давно высохли и, казалось, исчерпали лимит на многие события вперед – немного же во мне оказалось ресурсов. Я словно плакал наоборот: чем дольше думал о событиях того вечера, тем большую глыбу равнодушия ощущал внутри. Что-то там титровалось слезной жидкостью, где-то слишком издалека, ей сюда не добраться и за десяток лет.

Наверное, так не скорбят.

Бегемотик связующим звеном стоял на журнальном столике. Но что именно нас связывало? Ее – бабулино – желание лучшей жизни для меня? Будто бы последняя исправляется тономусом лица. Тонкий намек, что Катя – та единственная, которой для меня сокровенного не жалко?

И однажды, когда я слишком долго и пристально смотрел в нарисованные глаза резиновой игрушки, со стены упал портрет отца. Стекло разбилось. Всего-то звук, последнее, что он хотел донести до меня. Между ними с мамой и бабулей – пропасть меня одного. Угрюмого в тот период одиночества, но единственно настоящего. С какими-никакими кривыми планами на будущее, собственным полем из граблей без фамильных инициалов. И я вдруг понял.

– Я тоже хочу, чтобы ты был счастливым, – серьезно сообщил бегемотику. – Знаю, ты не хотел этого бремени.

Отбрасываю прочь и чай, и былой уют. Набираю Катю.

За последние несколько дней я отдалился от нее. В силу последних событий она простит меня. Она и прощает, и концом разговора – ее теплые пожелания добрых снов, что буду прокручивать в голове снова и снова.

* * *

Не знаю, как облечь это в слова. Но мне очень надо, чтобы Катя, моя Катя, сделала пять вдохов обратно.

Но как это сказать? Мы не в теплой постели, где уместны шуточные просьбы, мы – на расстоянии вытянутой руки. Натянута дистанция смущения после пропасти моего горя. Нелепая субординация. Беру ее за руку, первый, сам.

Признаться в том, что хотел украсть ее молодость? Просто попросить безо всяких объяснений?

Парк вокруг обворожителен: начало лета, и зелень еще сочная, и все вокруг пробуждается. Замусоленный бегемот в кармане куртки ни о чем уже мне не говорит. Он устал.

– Катюнь... – запинаясь.

И все на этом. Дальше шагаем молча. Катя смотрит сочувственно наискосок, от этого только больше застревают в груди так необходимые слова.

Любил бы – не решился попросить о подобном. А так подонок, трусоватый бес. Чем дальше идем, тем больше это чувствую.

– Такие они счастливые, – бормочет вдруг Катя, и я понимаю, что она показывает на детскую площадку. – Ни работы, ни проблем.

Моя девушка робко улыбается. Это мостик к прежнему общему настроению, по-своему протянутая рука. И я готов оценить ее, но взгляд внезапно и некстати цепляется за маленькую девочку на детской площадке.

Мне многое надо исправить. И начинать не с Кати.

Да, я узнал ее, первую жертву собственного малодушия. Две косички, яркий комбинезон. Наверное, живет неподалеку, раз регулярно гуляет в парке. Возможно, когда-нибудь с Катей у нас будет дочь. И я никогда, никогда не буду разговаривать по телефону в парке, и взгляда с нее не сведу, пока рядом гуляют несвоевременно постаревшие мужчины.

– О чем думаешь? – Катя мягко сжала мою ладонь. – Все в порядке?

– Да, – поворачиваюсь и дарю ей свой особенный взгляд, возможно, тот самый, за который она меня полюбила, и плевать мне на "недоморок". – И еще я знаю главное, все у нас будет хорошо. Ты будишь лучшее во мне.

Катя слегка розовеет, а мой тугой узел в груди наконец ослаб. Дальше мы идем молча, но совершенно точно – на одной волне, вместе с этой весной, с ее свежими почками-листочками и впечатлениями, которыми нас одарил этот парк.

* * *

Девочка гуляет три раза в неделю в этом парке. А я терпелив, наведываюсь каждый вечер. Всегда надеваю разные ветровки: их у меня всего три, но комбинирую с другой одеждой. Все должно пройти идеально.

Бегемотик всегда без одежды, ежится в кармане, ждет вердикта. Катя ждет дома. И все хорошо, все почти хорошо, если бы не постоянное чувство зыбкости происходящего. Прошлой ночью я вдохнул обратно нелегально взятый год чужой жизни в резинового компаньона, теперь главное, чтобы тот дошел до адресата.

– Привет!

Я так долго этого ждал: снова мать за телефоном, та же девочка, и тот же я, но другой. Дрожу под одеждой, надеюсь, незаметно.

– Ты меня не помнишь, но возьми бегемотика! Втяни оттуда воздух, один раз, пожалуйста. Это очень важно.

И тон не тот, и подача не та. Не умею я с маленькими детьми. Это не страшно, у меня есть цель, ее исполнение вторично.

Девочка недоверчиво смотрит. Детское лицо совершенно, может, когда вырастет, черты изменятся. Моя задача укрепить их морщинки, которые с возрастом проклюнутся, хотя сейчас это даже представить трудно.

– Я друг вашей семьи. Вдохни воздух из бегемотика, все будет хорошо. Он добрый, он даст тебе много хорошего.

И девочка слушает. Вот же! Вдыхает, почти плачу от радости. Она заберет свой год жизни обратно, а потом я пойду на исповедь к Кате, и та сделает свои пять вдохов обратно. Все встанет на свои места. Бабуля сказала – люби и позволяй любить себя другим. Я так и сделаю.

Дети непредсказуемы. Пока я сообразил да пока вмешался – бегемотик снова упал на асфальт, совершенно пустой и внезапно одинокий.

– Зачем?! Я сказал, один!

Меня скрутило. Прибежала мать, кричала, била по лицу. Она спрашивала, где ее девочка – я не знаю, я и правда не знаю. Две резинки остались лежать на асфальте. Что я мог сказать этой женщине – что девочка пяти лет стала на шесть моложе? Надеюсь, она в лучшем мире.

Мать вызвала полицию, я дождался. Десяток стандартных вопросов, меня в итоге отпустили. Катя оборвала телефон.

На исходе дня – одиннадцать пятьдесят пять – я все же вернулся домой.

Катя, видимо, ждала: уснула прямо в одежде. Нет, она не сильно изменилась. Чуть ярче стали скулы, на руках проступили вены. Я аккуратно пристроил ей бегемотика между пальцев. У него должен быть другой хозяин.

* * *

Были в этом мире вещи, что я любил. Родителей и бабушку, свою нелепую игрушку. Катю вот, например. Даже по-своему девчонку с косичками, такое стороннее отцовское чувство. Я ведь ношу большую тайну, семейную, если точнее, я не могу быть неважен, не нужен или нелеп. По-своему убийца, а в целом – хранитель: память штампует все, и парк, и чужое горе, и Катю. Архитектор их изменений. Может, когда меня вызовут на божий суд, стану лучшим свидетелем нашего краха. Но пока еще живу, дышу и вполне соответствую своим же ожиданиям.

* * *

Она когда-то сказала, его зовут Кошмарик. Это такое милое, любящее прозвище. Осознанное, видимо.

Катя собирается на работу, а я глаз не могу отвести.

– Здорово... очень здорово выглядишь!

Жена снисходительно улыбается, я рад ответной реакции.

– Тебе тридцать семь, – мимоходом напоминает. – Но это до вечера.

Знаю, вечером я ее устраиваю в возрасте около тридцатника. Те же интересы, и мы снова сверстники. Катя мимоходом сует бегемотика в карман. Она очень мудрая, моя жена. Я когда-то хотел наступать на собственное поле из граблей, а теперь вот передумал.

Потому что уж очень больно бьются. Металлические зубья о лоб, до крови, пусть ее и не видно. Я привычно растягиваю рот в улыбке генетически хороших зубов.

– Возвращайся с уловом.

Это нормально, это как пожелание доброго утра. Так же нормально, как та женщина, что семь лет приходит на детскую площадку в парке за своей Машей.

Все приедается со временем. А я просто рад, что наконец-то не один.

Александра Ильина

Унгайкё

Ито Кэзуми была красива как ангел. Никого не удивило, что она, будучи школьницей, стала востребованной моделью и актрисой в рекламных роликах, а позже и в дорамах, ведь она не пропускала ни одного фестиваля, где был конкурс красоты, неизменно занимая первое место, и бесконечно ходила на всевозможные кастинги, тем самым добившись того, что ее заметили.

Кэзуми понимала, какой дар достался ей от природы, и пользовалась этим. Она умела себя преподнести, что в совокупности с кукольной внешностью открывало перед ней любые дороги и быстро вознесло на вершину популярности. Однако характер девушки был словно стекло с сахаром. Когда ей было что-то нужно, она была самым милым существом на свете, но чуть что не по ней, она превращалась капризную эгоистку, которой и была на самом деле. Успех и слава настолько вскружили ей голову, что Кэзуми считала, что выше нее только солнце, ведь всё и все вращались вокруг нее.

Для многих сотрудничество с ней было залогом бешеных рейтингов, а значит, и больших денег. Поэтому крупные авторитеты шоу-бизнеса радостно потирали руки при заключении контрактов, а остальным лишь оставалось терпеть выходки Кэзуми, стиснув зубы до скрежета. Девушка также отличалась жестокостью, ставя себя выше обслуживающего персонала, и гоняла людей до изнеможения, попутно унижая и оскорбляя. Если же ее капризы так и не были удовлетворены, она могла с легкостью выбросить человека с работы на улицу, словно мешок с мусором. Кэзуми не входила ни в чье положение, кроме своего собственного, и считала людей не более чем грязью под ее ногами.

Тем не менее на людях и с поклонниками она никогда не показывала истинного своего отношения к ним. Кэзуми не была душой и понимала, что от презираемых ею людишек зависит ее популярность, поэтому при общении с фанатами она натягивала свою самую милую улыбочку и была приветлива и дружелюбна. В своих интервью девушка часто говорила, что, несмотря на свою загруженность и большое количество писем от поклонников, она старается отвечать всем, хотя это было неправдой. Если в начале своей карьеры Кэзуми действительно могла кому-то ответить, то теперь она игнорировала абсолютно всех. Лицемерие и ложь настолько прочно вошли в ее жизнь, что девушка и сама верила в то, что говорит на публике, и совершенно не замечала своего отвратительного поведения.

Помимо этого, Кэзуми очень любила заниматься самолюбованием. Частенько она садилась перед зеркалом и начинала то корчить забавные рожицы, то надувать губки, а то и вовсе разговаривать со своим отражением. Все эти забавы могли продолжаться часами, а иногда девушка запускала прямые эфиры и таким образом развлекалась под пристальными взглядами своих многочисленных фанатов, которых умиляли ее кривляния, а деньги с донатов текли рекой.

Однажды, накануне своего двадцать третьего дня рождения, Кэзуми в сопровождении телохранителя прогуливалась по району Сибуя в поисках подарка для себя любимой. Ей хотелось чего-нибудь необычного, неординарного. Такого, чтобы это было только у нее. Увы, но то, что предлагали торговые центры, лишь навевали на девушку скуку.

Вдруг, проходя мимо небольшого магазинчика, ее глаз зацепился за вывеску с надписью "Антиквариат". Внутри вела деревянная дверь с необычным узором, явно сделанным умелыми руками резчика по дереву, в виде четырех то сужающихся, то расширяющихся кругов, от которых в разные стороны расходились тонкие линии, придавая изображению сходство с солнцем.

"Солнце смерти", – пронеслось в голове у Кэзуми, однако она словно замороженная подошла к двери и, толкнув ее, вошла. Телохранитель девушки остался ждать снаружи. Он искренне недоумевал, кто в здравом уме будет изображать что-то связанное с цифрой четыре¹. Это либо безрассудная смелость, либо глупость. Тем не менее спорить с Кэзуми, которая решила туда войти, было чистым безумием, и мужчина решил просто промолчать.

Внутри магазина в нос ударил приторно-сладкий запах благовоний, а глаза сразу же бежались от многообразия товаров. Чего там только не было: старинные самурайские доспехи, пестрые, расшитые золотом многослойные кимоно, древние вазы, статуэтки, гравюры в стиле укиё-э² и многое другое. Кэзуми почувствовала себя так, словно она зашла не в антикварную лавку, а попала в настоящий музей. Девушка зачарованно прошла по магазинчику и остановилась рядом с яркой куклой. Она была одета в оранжево-фиолетовое кимоно, ее черные как смоль волосы частично собраны в пучок, частично ниспадающие на плечи, а взгляд опущен вниз, на маленький поднос, который кукла держала на вытянутых руках.

– Тяхакоби-нингё, – произнес за спиной у Кэзуми мужской голос.

Девушка, вздрогнув от неожиданности, повернулась к говорившему.

– Простите, не хотел напугать, – улыбнулся пожилой мужчина. Он был одет в белое кимоно, что снова натолкнуло девушку на мысли о смерти³. – Позвольте в качестве извинений показать вам кое-что.

Мужчина, взяв куклу, подошел с ней к прилавку и жестом пригласил Кузуми подойти. Затем он вышел в другую комнату и спустя минуту вернулся с чашкой чая в руках. Поставив куклу лицом к девушке, он водрузил на ее поднос чашку. Тяхакоби-нингё словно очнулась от многолетнего сна и, слегка покачивая головой и перебирая ножками, торчащими из-под кимоно, подъехала к Кэзуми и почтительно замерла. Девушка смотрела на нее во все глаза.

– Не откажитесь от чашечки чая, который столь любезно предлагает вам мой компаньон, – с улыбкой произнес мужчина. – Когда выпьете, поставьте, пожалуйста, чашку обратно на поднос.

Кэзуми, осторожно взяв чашку, сделала несколько глотков. Сладковатый чай очень освежал, оставляя травянистое послевкусие. Закончив, вернула чашку на поднос кукле, и та слегка поклонилась, развернулась и отправилась обратно к мужчине, который, видя реакцию девушки, весело рассмеялся.

– Удивительно. Просто магия, – восхищенно прошептала Кэзуми.

– Никакой магии. Это всего лишь тяхакоби-нингё. Скажите, за чем вы пожаловали в мою скромную лавку?

Этот простой вопрос тут же поставил девушку в тупик. Она была так поражена куклой, что совершенно забыла цель своего визита. Быстро придя в себя, Кэзуми ответила.

– Скоро мой день рождения, и мне бы хотелось купить себе нечто необычное.

– В таком случае вы пришли по адресу. Такого в моем магазинчике полно. Кстати, мне знакомо ваше лицо. Не мог ли я вас раньше где-то видеть?

– Разумеется, могли и видели, – горделиво ответила девушка. – Я известная модель и актриса – Ито Кэзуми.

Как только она это произнесла, ей на долю секунды показалось, что лицо мужчины помрачнело. "Да он просто растерялся, узнав о том, что к нему случайно зашла такая знаменитость, как я, ведь мое лицо знает вся Япония", – подумала девушка.

¹ В японском языке цифра четыре созвучна со словом "смерть". Поэтому все, содержащее четверку, считается несчастливым.

² Укиё-э – направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо.

³ Белый цвет считается в Японии траурным.

– Что ж, – снова заговорил продавец, – для такого необычного человека, как вы, у меня есть одна вещица.

Оставив девушку, мужчина скрылся в другой комнате. Ожидая его возвращения, Кэзуми подошла к витрине с украшениями и принялась рассматривать. Всевозможные старинные заколки, веера, гребни и ювелирные изделия вызвали у Кэзуми неподдельный восторг. Она поражалась тонкой работе по кости, перламутру, восхищалась художественной росписью веером. Несмотря на это, она с интересом ждала, что же такого предложит ей продавец.

– Прошу прощения за ожидание, – произнес вернувшийся мужчина, а девушка, поглощенная разглядыванием антиквариата, снова вздрогнула. "Что-то я сегодня чрезмерно пугливая", – раздраженно подумала Кэзуми и подошла к прилавку, на котором лежала небольшая коробочка. Девушка смотрела на нее в нерешительности, словно ожидая приглашения.

– Ну же, открывайте.

Сняв крышку с коробки, девушка увидела в обрамлении красной ткани бронзовый диск золотого цвета с рельефным изображением двух вееров с рисунком цветущей сакуры на фоне горного ландшафта. Кэзуми в замешательстве переводила взгляд то на содержимое коробки, то на продавца.

– Ну и что же здесь такого особенного? – раздраженно спросила она.

– Вижу, вы не понимаете, что это такое, – улыбаясь произнес мужчина. – Тогда я покажу.

Продавец вытащил диск и развернул его к Кэзуми.

– Зеркало? Ну и что с того? – девушка уже начинала терять терпение.

– Смотрите.

Продавец нащупал что-то под прилавком и, погрузив магазин в полумрак, вытащил настольную лампу и включил ее. Поймав отражение зеркала, он перевел его на стену. Кэзуми изумленно ахнула, увидев представшую перед ней картину. Там, куда было направлено отражение, виднелся горный массив, на фоне которого парили золотые веера с тонкими очертаниями цветущей сакуры. Их словно подбросила в воздух гейша, исполняющая изящный и грациозный танец, а они воспарили, как две свободные бабочки, над которыми не властно ни время, ни пространство.

– Великолепно, – восхищенно прошептала Кэзуми. – Это действительно необычная вещь. Волшебная.

Продавец улыбнулся, положил зеркало на место, выключил лампу и вернул освещение.

– Сколько вы за него хотите? Я заплачу столько, сколько скажете.

Мужчина задумался, а девушка уже была готова к тому, что сейчас ей придется раскошелиться на кругленькую сумму. Тем не менее зеркало настолько понравилось ей, что она готова была заплатить любую сумму. В конце концов, Кэзуми не привыкла себе в чем-то отказывать.

– Я готов продать вам его за полторы тысячи йен⁴, – наконец произнес мужчина.

Глаза девушки округлились.

– Так дешево? Вы серьезно?

– Как никогда. Скажем так, пусть это будет огромная скидка ко дню рождения. Да и мне будет приятно, что вещь, которой больше ста лет, наконец обретает нового хозяина.

Оплачивая покупку, Кэзуми не могла поверить в собственную удачу. Такая великолепная вещь досталась ей буквально за бесценок. Покупка свершилась, и девушка, поблагодарив мужчину, отправилась на выход. Открывшаяся дверь выпустила Кэзуми в летний зной приближающегося вечера.

Как только девушка ушла, продавец, продолжавший стоять за прилавком, рассмеялся. Наконец свершилось то, чего он ждал целых четыре года. Теперь он наконец-то сможет обрести покой.

⁴ Приблизительно 1000 российских рублей.

Тем временем Кэзуми прилетела домой в самом лучшем расположении духа. Достав зеркало, она принялась разглядывать его, поворачивая то так, то эдак. Она попробовала повторить тот фокус, который показывал ей продавец, и пришла в неописуемый восторг, когда у нее получилось. Затем, установив зеркало на подставочку, которую она обнаружила на дне коробки, под красной тканью, и, усевшись перед ним, Кэзуми занялась своим любимым делом – самолюбованием. Спустя время девушка почувствовала усталость и, решив в ближайшее время провести прямой эфир и продемонстрировать своим фанатам новую вещицу, девушка отправилась в постель. Как только ее голова коснулась подушки, она забылась сном.

Выспаться Кэзуми в эту ночь, как и в последующие, не удалось. Она постоянно просыпалась от смутного ощущения, что за ней кто-то наблюдает. От этого чувства девушке было не по себе. Она чувствовала, как липкий страх проникает прямо в ее душу. Ей хотелось спрятаться, закутаться в одеяло, словно оно могло защитить ее от всего плохого в этом мире. В конце концов, пересилив иррациональный страх, Кэзуми поднималась с постели, включала свет и отвлекалась с помощью социальных сетей, пока снова не проваливалась в сон.

Следующие несколько дней девушка была вся в работе. Десяток фотосессий для глянцевого журнала, несколько интервью для телевидения, парочка съемок в рекламных роликах и грандиозная вечеринка по случаю ее дня рождения, на котором собрались все сливки японского шоу-бизнеса, в совокупности с ежедневным недосыпанием, быстро вымотали Кэзуми. Она решила немного отдохнуть и посвятить это время себе и баловством с новой вещицей.

Покончив с делами, девушка привела себя в порядок и решила провести запланированную прямую трансляцию, чтобы похвастаться. Сначала она, смакуя подробности, рассказала о вечеринке в честь своего дня рождения, высказалась о работе и дальнейших планах, а затем показала фокус с проекцией, не забыв упомянуть о возрасте зеркала и о том, что оно досталось ей почти даром. После этого начались ее любимые кривляния и ужимки, которые так нравились фанатам и ей самой.

Поначалу все шло хорошо, как вдруг Кэзуми резко вскрикнула и отпрянула от зеркала. Она испугалась настолько, что не сразу нашла в себе силы взять себя в руки и объяснить присутствующим на трансляции людям, что произошло. Да и как объяснить то, что в какой-то момент отражение в зеркале исказилось, и она увидела, как от ее прекрасного лица начала пластами отходить кожа, оно почернело, словно сгнило заживо, нос ввалился, а кожа на губах лопнула, обнажая зубы. Нет. Нельзя об этом рассказывать. Поэтому, как только Кэзуми пришла в себя, она извинилась и оборвала трансляцию.

Девушка не могла поверить в то, что увидела. Это лежало за гранью ее понимания. В конце концов, такого просто не может быть. Она опасливо приблизилась к зеркалу и взглянула на себя. На этот раз Кэзуми не увидела ничего, кроме своего привычного отражения.

"Это все усталость и жара. Вот чертово воображение и сыграло со мной злую шутку. Надо принять душ и отдохнуть, а то еще и не такое увижу", – решила девушка. Она взглянула на себя в зеркало в последний раз и принялась готовиться к походу в ванную. Девушка не замечала, что все это время ее отражение в зеркале не исчезает и не моргая следит за ней. Когда Кэзуми вышла из комнаты, по поверхности зеркала прошла рябь, и ее отражение исчезло.

Жизнь девушки сильно изменилась с тех пор, как у нее появилось зеркало. Ей все время казалось, будто за ней кто-то следит. Не только по ночам, но и вообще всегда. Кэзуми безуспешно старалась найти преследователя, постоянно говорила об этом своему телохранителю, но он ничего не мог сделать, поскольку на самом деле за девушкой никто не следил. Ее паранойя дошла до такой степени, что она начала думать, что ее телохранитель и есть тот самый преследователь. Тогда она со скандалом уволила его и наняла другого. От этого стало только хуже, ведь Кэзуми не доверяла новому человеку в ее окружении. За довольно короткое время она сменила трех телохранителей, но уверенности ей это не придало, и тогда она решила вообще отказаться от услуг личной охраны.

Кроме этого ей мерещились длинные человекоподобные тени, которые словно пауки карабкались по всем возможным поверхностям, пытаясь дотянуться до нее своими жуткими гипертрофированными, изогнутыми под немыслимым углом конечностями. Они преследовали девушку, куда бы она ни пошла и что бы ни делала.

Кэзуми стала очень нервной и вздрагивала буквально от каждого шороха и пугалась любых звуков, которые казались ей слишком резкими и громкими. Она чувствовала когтистые лапы паники, которые подбирались к ее горлу, чтобы перекрыть кислород. Также девушка не могла больше смотреться в зеркало. Кэзуми стала панически бояться своего отражения. Она постоянно видела свое изуродованное чернотой и гнилью лицо, осклабившиеся зубы в отвратительной ухмылке. Это чудовище преследовало ее даже в отражении стеклянных и зеркальных витрин магазинов. Оно было во всех зеркалах, которые были повсюду. Кэзуми было настолько страшно, что она даже стала бояться фотографироваться, ведь на фотографиях она тоже видела того самого монстра, отраженного зеркальной профессиональной техникой.

Из-за этого девушка не смогла продолжать работать и оставила свою карьеру на пике популярности, преследуемая страхом и паническими атаками. Кэзуми продала свою роскошную квартиру, которая была ей уже не по карману, и переехала в совсем крошечную, избавившись от всех отражающих поверхностей. Она даже перестала пользоваться смартфоном и компьютером, лишь бы больше никогда не видеть своего уродливого отражения.

Об уходе Ито Кэзуми гудела вся пресса Японии. Никто не понимал, как могла молодая и перспективная модель и актриса неожиданно уйти из шоу-бизнеса на пике своей популярности и пропасть в никуда. Журналисты строили различные теории о том, что случилось, бывшие коллеги по цеху с удовольствием рассказывали о том, что творилось с девушкой, строили различные догадки об алкоголизме и наркозависимости девушки, из-за чего у нее поехала крыша. Кто-то говорил о профессиональном выгорании, психологи ставили ей различные диагнозы, в том числе и эйсоптрофобию⁵. Тем не менее, какими бы жаркими ни были разговоры и дискуссии, вскоре про Ито Кэзуми все забыли, а она уже не помнила, как выглядит.

Девушке казалось, что теперь ее жизнь стала спокойнее и весь этот кошмар закончился, пока в один прекрасный день она не получила посылку от неизвестного отправителя, к которой прилагалось письмо. Кэзуми вскрыла конверт и принялась читать.

"Здравствуйте, госпожа Ито Кэзуми.

Меня зовут Ямогути Киоши. Если вы читаете это письмо, значит, меня уже нет в живых. Когда я увидел вас в своей антикварной лавке, я не мог поверить в свою удачу. Нет, не потому что ко мне пришла знаменитость, а потому что ко мне пришли именно вы. Не подумайте, я не ваш фанат. Я искренне ненавижу и презираю вас. Вы отняли у меня самое дорогое, что было в моей жизни – сына.

Он искренне восхищался вами, вашей красотой и талантом. Он показывал мне ваши фотографии, когда вы еще только начинали свою блестящую карьеру, но уже тогда были ужасным, высокомерным чудовищем.

Однажды мой сын рассказал мне о том, что написал вам сообщение в социальных сетях и – о чудо! Вы ему ответили. Он сказал, что вы пригласили его на свидание. Мой мальчик был так счастлив. Он полетел к вам навстречу, словно мотылек на огонь, и в результате лишился своих крыльев. Вы помните, как поступили с ним? Помните, что сказали ему?

Он пришел домой чернее ночи и, не говоря ни слова, ушел к себе в комнату. Я не стал его трогать, старый дурак. Думал, мало ли, свидание прошло не так, как надо, или еще там чего произошло незначительное. Я тогда не знал, что это был последний раз, когда я видел сына живым. Он повесился ночью. Из-за вас.

⁵ Эйсоптрофобия – боязнь зеркал.

Он оставил предсмертную записку, в которой рассказал, как зло вы подиутили над ним, позвав на встречу, сами не явились, так еще и отправили своего помощника снимать на камеру, как, цитирую ваши слова: "бедный неудачник, который возомнил себе будто сможет пойти на свидание со мной, которой он не ровня". Вы помните это? Помните, как позже к нему подошел ваш помощник и показал ему, как вы ведете трансляцию, прилюдно оскорбляя моего сына и говоря ему в лицо, что он ничтожество?

Он не выдержал позора, а я умер вместе с ним. Он был моим единственным ребенком, моим смыслом жизни, а теперь у меня ничего не осталось. И тогда я решил, что отомщу той, кто считает себя вправе играть людьми, их судьбами и жизнями. Я вынашивал планы мести долгие четыре года, но так и не смог осуществить из-за вашей популярности. Мне было просто не подобраться к вам. И вот вы сами пришли ко мне! Я не упустил свой шанс и продал вам унгайкё – зеркало-цукомогами, способное отражать истинную сущность людей, вещей и всего в этом мире. То, что вы видели, – это ваше истинное лицо. Надеюсь, вам понравилось.

Теперь вы потеряли все, чем дорожили, как и я. Моя месть свершилась, и больше ничто не держит меня на этом свете.

Прощайте, госпожа Ито Кэзуми, и примите мой прощальный подарок".

Пока девушка читала письмо Ямогути Киюши, ее бил озноб. Душу словно сдавили стальные прутья, мешая дышать. Она вспомнила то, о чем говорилось в письме. Для нее эта история была не более чем шуткой, которую она рассказывала всем, кому могла. Но Кэзуми была не в силах даже подумать о том, к каким последствиям это может привести.

Дрожащими руками девушка открыла посылку, достала небольшую коробку, сняла крышку... и снова увидела свое безобразное отражение, искаженное в злобной ухмылке.

Евгения Фальк

Старуха и лужа

Согбенная старушка, ковыряясь в кладбищенской земле, приговаривала: "Эт щуплый, не пойдёт. А эт целый такой махонький?.. Тьфу, половинка". Старуха отбросила в сторону горсть грязи. "А эт ничего, крепенький", – довольно прошамкала она, разглядывая вертявого, толстого червяка. "Ну что, зятёк, будешь Ванькой", – сказала старуха, опуская червя в мутную лужицу. Червь булькнул и исчез.

Пока мама не привела домой Ваню, серьёзные отношения с мужчинами у Светы не складывались. Она хотела нормальную семью и чтобы всё как у людей, но страстной любви к Ване не испытывала. Родителей своих Иван не знал и не помнил ничего до встречи со Светой. По необъяснимой причине он был уверен, что девушка – его судьба, хотя особенных чувств к ней тоже не питал.

Иван и Светлана поженились через неделю после знакомства.

Ваня искренне старался полюбить молодую жену и уделять ей всё свободное время, но так и не смог отказаться от привычки гулять по ночам. Наступала тьма, он уходил из дома, а с рассветом, как любящий зверь подкидывает добычу к двери хозяина, он приносил Свете в качестве подарков и извинений: то мёртвую белку в букете из сухоцветов, то самодельные бусы из мохнатых пауков в древесной смоле.

Девушке было приятно внимание мужа, другого и не знала, но всё же она ждала от Ивана главного подарка, способного перевернуть её жизнь и преобразить в эталон нормального и, стало быть, счастливого человеческого существования. Ей нужен был ребёнок. Ваня избегал разговоров о детях, просил отсрочки, от его отговорок Света увядала на глазах.

Так они прожили полгода, пока не умер отец Светы, с которым она давно не общалась. Отцу не нравился Ваня, и он не пришёл на свадьбу, хотя девушка до последнего надеялась на его благословение. Поэтому, получив трагическое известие, она засомневалась: стоит ли ехать на похороны отца, который не поддержал её в самый важный день в жизни.

– Свет, мы должны! – воскликнул Иван, когда жена поделилась с ним новостью. – Надо быть выше прошлых обид... – добавил он уже неуверенно, заметив удивление на лице Светы. Это были его первые слова за последний месяц.

Дверь родительского дома открыла эффектная брюнетка. Света с удивлением заметила, что на ней надет мамин старый халат в крупную розу.

– Привет, дочур, – сказала брюнетка и обняла Свету.

– Ольга Фёдоровна? – ошарашенно проговорил Ваня.

– Мама? – выдохнула девушка. – Тебя не узнать...

– Ах, это? Ды вот знаешь, я прост стала пить каждое утро одну столовую ложку... – она запнулась. – Впрочем, неважно, у нас большое горе, не до трескотни. Проходите в дом, попрощайтесь с отцом.

Ольга Фёдоровна преобразилась сразу по смерти мужа, почившего тотчас после загадочно горького капустного пирога жены.

В тёмной комнате, освещаемой лишь кривыми свечами да пасмурным светом, чуть пробивавшимся из щелей в рваных шторах, по углам стояли люди, больше похожие на тени. Они были мрачны и угрюмы как призраки, временами душный воздух прорезал чей-то резкий, протяжный вой: он тянулся, пронзая до дрожи, и обрывался на высокой, неверной ноте, уступая

невнятным жалобным причитаниям: "На кого ж ты нас...", "Да как же ж мы..." Тени выли, тени пили водку, тени просили прощения у покойного.

Мертвец лежал среди теней в центре зала. В бледно-жёлтом, заострившемся его лице, похожем на восковое, Свете трудно было угадать родного отца. Она не стала подходить ближе к манекену с отцовскими чертами, а Ваня с непонятным трагизмом (он почти не знал умершего!) сказал, что попрощаться с тестем – его святая обязанность.

Склонившись над гробом, Иван, как показалось Светлане, подзадержался губами на восковом лбу усопшего. Девушка поспешила очистить ум от образа мужа, нависшего над отцом, и налегла на спиртное. Ольга Фёдоровна, не проявляя интереса к мероприятию, куда-то исчезла.

Спустя несколько часов Ваня нашёл жену, свёрнутую калачиком в затёртом кресле покойного. Казалось, она перестала дышать. Мужчина с замиранием сердца проверил, жена выдохнула ему в лицо перегаром.

Расстроенный, он взял её на руки и, открыв дверь спальни, приготовленной для них Ольгой Фёдоровной, застыл в проходе. В каждой детали обстановки, которую помолодевшая старушка соорудила для супругов, угадывалось жгучее желание скорее понянчить внуков. Спальня походила на гостиничный номер для новобрачных: шампанское и крабы, фрукты и шоколад, цветы, свечи, благовония...

Ваня осторожно положил Свету на лепестки роз. Девушка не пошевелилась. В ту ночь мужчина впервые остался дома и впервые занялся любовью с супругой. У него это вышло удачно: никто не смотрел на него, не разговаривал, не отвлекал, жена спала мёртвым сном, пока Иван самозабвенно исполнял свой долг.

Вскоре Света узнала, что беременна. Ольга Фёдоровна была вне себя от счастья и предложила переехать к молодым и сидеть с ребенком, пока они будут работать и отдыхать. Света была против. Она слишком хотела это дитя и была полностью готова вкусить радости и горести материнства самостоятельно. Девушка запретила маме приезжать и пообещала, что они сами будут иногда навещать её.

Ваня толком не объяснил жене, при каких обстоятельствах они были близки, обмолвился лишь, что после похорон и алкоголя им было очень весело, а большего он и сам не помнит. Как бы то ни было, Света добилась того, о чём мечтала, а он выполнил долг, хоть и пожалел о проявленной слабости, узнав о скором прибавлении. Его ночные прогулки возобновились.

Беременность девушки прошла в печали, бессоннице и подавленности, Иван уходил каждую ночь и возвращался утром грязный и недовольный от вида жены, от её живота и нудных расспросов.

Вопреки подозрениям Светы, муж не пьянствовал, а проводил ночи в страстном бреду на кладбище. Он утолял запретную жажду и безумными ночами отдыхал от нормальных, тошнотворных дней.

Он мог бы остаться на кладбище навсегда, отрекшись от отцовства и семейной жизни полной лжи, но утром, на каком бы погосте он ни был, на смену заступал другой, Дневной. Дневной любил то же, что и Ваня, от этой мысли Ване становилось противно. Дневной припадал к тем же могилам, Ване отвратительно было думать об этом. И потому мужчина всякий раз возвращался в реальность, которой по-настоящему боялся, где он муж и будущий отец и где эти слова ничего для него не значат, но надо делать вид и притворяться, что любишь, вопреки злобной природе, не наделившей его любовью к подобным вещам.

– Я рожаю, Ваня-я-я! Вызови...

Мужчина выбежал из квартиры прежде, чем Света успела договорить. Он просто не мог этого вынести. Лучше соседство с Дневным, чем это. Ваня ушёл из дома, не собираясь возвращаться.

В первую ночь после выписки из больницы Света взяла малышку из люльки с собой в кровать, чтобы успокоить.

Ей приснился муж: он раскапывал свежую могилу с остервенением, с внезапными порывами смеха, хрипя и пуская слюни. Света перевела взгляд на надгробие, где в круглом окошечке застыло розовое, сморщенное детское личико... Откуда-то появилась Ольга Фёдоровна: молодая, в откровенном кожаном наряде, подошла к Ване и, поглаживая по голове, открыла ему рот и засунула туда горсть земли... Грязь и слякоть, всюду лужи, мама бежит, перепрыгивая через них, но путается в ногах и, споткнувшись, цепляется за Свету. Света падает. Лужа проглатывает её с головой и тянет куда-то всё ниже и ниже. "Мама!" – кричит Света и видит, как высоко, там, где она провалилась, подошва маминой туфли запечатывает проход, вдавливая бессмысленные слова в сырую землю: "Наконец не буду пахнуть по-стариковски..."

Наутро Светлана проснулась и не нашла в люльке ребёнка. Стала звать, но в доме было тихо. Она вдруг вспомнила, что брала дочь к себе. Разворошив постель, под бесконечными, запутанными, тяжёлыми и влажными от пота и чего-то ещё одеялами, простынями и пелёнками она обнаружила бездыханное тельце.

Иван вернулся домой, больше, чем обычно запаханный в земле и провонявший гнилью. Из кармана старой клетчатой рубашки торчала лохматая гвоздика, а в брюках он держал наизготове опасную бритву. Все дни, что Ваня провёл на погосте, он только и думал, как воспользуется ею.

Когда мужчина вошёл в дом и встретился в прихожей с женой, собравшейся на прогулку с новоиспечённым ребёнком, его сердце подскочило и дёрнуло за собой руку, сжимавшую оружие.

Но что-то его остановило. Иван ослабил хватку. Почуввав знакомый запах, он со смутным предчувствием подошёл к коляске и впервые увидел дочь. Истерическая, паническая надежда захватила его существо. Он взглянул на жену, а потом резко наклонился и поцеловал ребёнка в ледяной лоб. Радость искривила жёсткое лицо Ивана. С удивлением и восхищением он поцеловал замёрзшие пальчики ног, холодный живот и сухие губы. Хотел было взять дочь на руки, но скользнул по открытому предплечью жены грубой тканью рубашки.

Пока не полоснуло и не обожгло грязной тряпкой, Света умильно смотрела, как муж возится с малышкой. Теперь же глаза у неё расширились, она часто задышала и словно затаилась. Медленно, с невыразимым ужасом перевела взгляд с Вани на дочь. Из края её остекленевшего глаза выкатилась слеза. Недоумённо поморгав, девушка огляделась и толкнула коляску наружу, оставив глупо улыбавшегося мужа в дверях.

На улице, переходя через дорогу, девушка достала дитя из коляски. Движения особого не было, но всё же безопасность ребёнка молодая мама ставила выше всего. Кроме того, она рассудила, что на руках дочке будет интереснее, чем лежать и смотреть на одни и те же облака.

На дороге она повстречала мать, но не узнала, подумала, что соседка. Поздоровались, остановились. Ольга Фёдоровна, хищно улыбаясь, протянула руки, чтобы поддержать внучку, но Света вцепилась в дочь мёртвой хваткой.

– Понимаешь, я-то похорошела, но всё ещё пахнет от меня старухой, – пожаловалась мать.

Света ничего не поняла, сказала: "Спасибо, и вам" и хотела уйти, но Ольга Фёдоровна резво выхватила ребёнка из её рук и подсунула вместо него старую Светину куклу.

Женщина подошла к луже у обочины и положила в неё синее дитя. Глядя, как девочку с чавканьем засасывает в грязь, она, скрестив пальцы, забормотала: "Возьми её, ванильями хочу пахнуть, возьми, вишь кака маленькая, хорошенькая!" Лужа в последний раз чавкнула, и женщина поднесла к носу подол своей клетчатой юбки. Она с наслаждением втянула сладкий воздух.

Света не видела ничего вокруг. Её пронзило всепоглощающее осознание, что она касается сейчас не своей дочери, а её одежды. Она представила и ощутила мельчайшие ворсинки, сухие и колючие волокна полотна... По спине и шее неприятно щекотнуло, ладони вспотели. Она тряхнула плечами и с отвращением бросила ребёнка обратно в коляску.

Улыбаясь приветливым солнечным лучам, радуясь свежему ветру и щебету птиц, девушка дошла до парка и села на скамейку, чтобы покормить дочь. Поблизости никого не было. В отдалении, на детской площадке, играли в догонялки дети, поливая друг друга водой из игрушечных пистолетов.

Света тщетно пыталась дать ребёнку грудь. "Неужели сытая?" – подумала она, припоминая, когда в предыдущий раз кормила. Вдруг у одной из девочек, резвящихся на площадке, слетел с волос большой розовый бант. Подхваченный ветром, он устремился прямо к раскрытой груди Светы и через мгновение со шлепком приклеился к голой плоти. Девушка отлепила бант от себя, вздрогнув от скрипа мокрой ткани между пальцев, и швырнула его на землю так, будто он был живым и опасным.

Страх быстро отступил, и девушка ощутила усталость. Возвращалась тем же путём. На дороге её разбудил протяжный гудок. На этот раз Света не вынимала ребёнка из коляски и, отскочив от резкого звука, опрокинула коляску и выронила дочь на асфальт.

Из окна пронесшегося автомобиля вылетела игрушка. На мгновение девушка оторопела в необъяснимом ужасе. Перед ней в пыли лежала кукла с проломленной кудрявой головой и её ребёнок: целый и невредимый, живой, смеющийся. Но отчего ей было страшно? Так страшно, будто в груди копошится клубок змей? Она не смогла ответить на этот вопрос, и змеи уползли вглубь, туда, где Света их не ощущала.

Когда утомлённая Светлана вернулась домой, её необычно весело встретил Иван. Будто ждал её, будто хотел увидеть! Девушка уложила малышку спать и радостно пошла в ванную. Усталость развеялась, и Света с удивлением обнаружила, что хочет провести с мужем романтический вечер. Но прежде следовало побрить ноги, чтобы прибавить себе уверенности и намекнуть о намерениях любимому.

Побрив ноги, Света заметила, что и руки у неё неприлично волосатые. Она провела по ним лезвием. Безрезультатно. Обезьяний мех ни в какую не поддавался. Она огляделась и увидела на раковине, рядом с собой, опасную бритву. Должно быть, мужа? Прежде Светлана никогда её не видела, а сейчас та оказалась под рукой как раз, когда нужно! Девушка осторожно взяла бритву, посмотрела в стеклянные глаза в отражении и, прижав лезвие к запястью, повела его вверх.

В этот момент Ольга Фёдоровна вернула себе бесплатный проезд в транспорте и льготы на коммунальные услуги.

Безмерно счастливый Ваня с букетом искусственных гвоздик вошёл в ванную, где лежала изрезанная Света. С облегчением вздохнув, он полез в кровавую воду и, наслаждаясь женой как никогда, захлебнулся.

Ваня вернулся к родителям и всё вспомнил, пока они его ели. На Ванину могилу пришёл Дневной.

Свету завернули в саван, заперли навеки с тканью, обжигавшей воспоминанием о смерти дочери. Змеи выползли из Светиной груди и обвились вокруг.

Молодая, очаровательная брюнетка, завёрнутая в аромат ванили, как в шаль, зашла в переполненный трамвай и, наклонившись над тощей, лысой девицей, грозно сказала:

– Уступи место! Постыдилась бы...

Пассажиры трамвая одновременно поднялись и обступили Ольгу. Полчища надсадно рыдающих теней толкнули женщину к выходу. Волосы Ольги Фёдоровны вмиг поседел, вагон заволокло стариковым запахом.

На следующей остановке её уже ждала зловонная, бурлящая лужа.

День Колобка

Старик. Старуха.
Короб, сусеки.
Мука, сметана, масло.

Я родился!

Лежал, покатился: окно, лавка, пол, двери, прыжок через порог,
сени, крыльцо, двор, ворота.

Приключение!

Заяц. Угрожает, а я ему – песню.
Укатился.

Волк. Угрожает, а я ему – песню.
Укатился.

Медведь. Угрожает, а я ему – песню.
Укатился.

Лиса. Угрожает, а я ей – песню.
Говорит: не расслышала.
Просит спеть громче. На мордочке.
Люблю петь.
Прыгаю. Мордочка. Пою.
Хвалит. Просит на бис. На языке.
Лиса – моя поклонница. Приятно.
Прыгаю. Язык.

Я умер...

Мои старики.
Сусеки.
Рождение.
Приключение.
Заяц.
Волк.
Медведь.
Лиса.
Ближе. Ближе.
Смерть.

Рождение.
Приключение.
Смерть.

Рождение, смерть.

Рождение, смерть.

Рождение, смерть.

Мой милый старик, как же я рад видеть твои смеющиеся глаза! Старушка любимая, почему мне так тяжело на душе?

Отчего мне больно видеть этот короб и сусеки, отчего мне кажется, что это не кузница моя, а гроб? Ну же, родители, ответьте: что за тревога меня переполняет? Скажите, что это пустое, скажите, что я могу остаться с вами навечно!

Я знаю, что не могу. Меня зовёт дорога похоронным звоном. И я должен вас покинуть, чтобы пройти свой путь и достойно встретить смерть.

Не плачьте. Я вернусь. Прощайте... Всего-то надо спрыгнуть с окна на лавку и запустить колесо. Однако как ласково сегодня греет солнце! Ах нет, не должно нежиться в небытии, как бы ни ласкало треклятое светило...

Прыжок!

Удар об лавку смял бока, вековая пыль с половиц залепила поры, двери не остановили, не задержали, не защитили: выпустили в горестный мир, таращась вслед смертнику распахнутым оком. Порог слабо попытался спасти, встав на пути, или только сделал вид, чтобы облегчить совесть. Чрез сени – последний вздох дома – на чистилище крыльца и дальше: во двор, пропахший разложением, минуя ворота, рассеивающие даже воспоминания о надежде, напрямик в гнетущее будущее.

И вот уж скачет первый вестник скорой гибели.

Нет, заяц, я умру не так. Лишь часть души отдам тебе, ушастый. Слушай же мою песню о любви и смерти, поплачь немного о доле бедного горемыки, и прощай!

Второй гонец спешит, предрекая ужасные страдания и одновременно – конец всякому горю.

Нет, волк, я умру не так. Лишь часть души отдам тебе, зубастый. Слушай же мою песню о любви и смерти, поплачь немного о доле бедного горемыки, и прощай!

Совсем я близко к мраку подобрался. Повеяло падалью. Третий пророк мне повстречался.

Нет, медведь, я умру не так. Лишь часть души отдам тебе, мохнатый. Слушай же мою песню о любви и смерти, поплачь немного о доле бедного горемыки, и прощай!

Вот так я умру. От этих жёлтых раскосых глаз.

Ну здравствуй, лиса.

Лиса с хрустом откусывает румяный кусочек хлеба. Жуёт, смакуя. Разламывает пышную булку пополам и выгрызает пористый мякиш. Смахивает пушистой лапкой крошки с мордочки и хищно вгрызается в корочку.

Картинка застывает. Маленькая белая стрелка опускается вниз, туда, где её уже ждёт шарик на тонком рельсе. Стрелка тянет шарик назад, откуда пришёл. Картинка оживает.

"Старик. Старуха.

Короб, сусеки.

Мука, сметана, масло.

Я родился!"

Голый Шарин вновь пересматривал любимую сказку, когда на него запрыгнула рыжая обнажённая девушка с пушистым хвостом.

– Съешь меня, красотка, – с придыханием попросил мужчина.

Рыжая, облизнувшись, скрылась за круглым животом Шарина. Шарин издал протяжный стон, поглядывая на экран. Колобок катился, слюна наполняла рот мужчины.

Рыжая дёрнулась, мужчина вскрикнул, а через мгновение девушка показалась из-за глобуса живота с кровавым ошмётком в зубах.

Шарин улыбнулся ей и попросил подождать. Он дотянулся до телефона, включил камеру.

– Ешь меня, детка!

Счастливый Шарин без ног и рук пересматривал только что снятое видео. Рыжая отгрызала куски белой плоти под судорожные крики мужчины.

– А теперь отправь это в чат, – сказал Шарин, протягивая свой телефон девушке. – Напиши: "Сестрицына – огонь! Это лучшая днюха в моей жизни! Продолжение следует..." и смайлик. Отправила? А теперь займёмся продолжением...

У Побегайкиной звякнуло уведомление. Блондинка с разорванной верхней губой разблокировала мобильный. На заставке – они с Шариным целуются. Зашла в чат, открыла видео. Нос защипало, глаза намокли. Она достала из шкафа стопку и налила в неё морковной настойки.

Лохматый Серобоков точил клыки, когда пришло сообщение. Он посмотрел видео, рыкнул и метнул напильник в прикреплённое к стене фото Шарина. В заплывшем лице друга уже торчали дровишки и ножи.

Волосатый амбал Косолапко после видео Шарина открыл пустой холодильник. Даже никто не повесился. Он топнул ногой и проломил пол. Извинился перед соседями снизу, в него бросили плесневелым сухарём. Косолапко сокрушённо забрался под одеяло и погрузил кулак, с зажатым в нём сухарём, в рот.

Прекрасная обнажённая Сестрицына облизывала окровавленные пальцы. Шарина не было.

Старик и старуха. Короб и сусеки. Я родился!

Алекс Лоренц

Три Лица Случай на Чусовой

"Когда на Чусовой резко меняется погода, остерегайтесь числа три. Возвращайтесь лучше домой – от греха подальше".

Сергей, бомж с вокзала Пермь Вторая, кандидат филологических наук

– Ну что, поворачиваем? Возвращаемся на станцию?

– Это ж долго!

– Долго не долго, а тут оставаться – околеем. На станции хотя б люди живут.

Шум реки Чусовой, вдоль которой путники прошагали двадцать километров от захоластного полустанка, давно стих позади – за снежной стеной.

Апрель месяц. Теплая солнечная погода давно устоялась, так что четверо старых друзей наконец собрались в пеший поход, о котором вели разговоры последние три года. Из Перми выехали за полночь. Подремали в одной электричке, потом в другой. Вышли в отправном пункте пешего маршрута – на станции Рыбье Болото. Добрались до Чусовой и двинули вдоль русла вниз. Так ни карта, ни навигатор не нужны – идешь себе и идешь; главное, чтоб река оставалась на виду – тогда точно не заплутаешь.

К наступлению темноты планировали добраться до покоса у камня-бойца Хултум, где раньше была деревня с тем же названием. Там поужинать консервами с хлебом, выпить водки, потрещать за нелегкую семейную жизнь, заночевать, а наутро двинуться восвояси.

Димон, Леха, Саня и Петька – четверо тридцатилетних мужиков. Офисный работник, ремонтник-самоучка, дизайнер-фрилансер и университетский преподаватель экологии. Учились когда-то в одном классе. Не бросали друг друга все годы после выпуска.

Петька – бородатый эколог, опытный по части походов – сам спланировал путешествие, выбрал маршрут. К слову, раньше ему здесь хаживать не доводилось, но опасаться, мол, нечего, раз весь путь лежит вдоль Чусовой.

Шагать было весело и легко. Сальные шуточки с крепким матом сыпались, словно из волшебной сумы. Вокруг ни души. Вовсю светило ласковое апрельское солнце, заливались радостью птицы.

Только вот до Хултума путники так и не добрались.

Около четырех пополудни откуда ни возьмись налетел злой колючий ветер, а небо затянуло необъятная свинцово-серая, почти черная туча. Повалил крупный снег.

Тут-то веселье и поухло.

Еще с час они молча брели вереницей по тропе, которую все сильнее заметало. Температура стремительно падала. Обманули синоптики, черти! Ни в одном прогнозе не намекнули на такой поворот событий. Оделись путешественники тепло, но все же совсем не для зимы.

Около пяти пополудни, когда тропу основательно замело и повсюду выросли сугробы, Петька стал что-то сосредоточенно искать на бумажной карте, которую свирепый ветер норовил вырвать из рук. Электронным навигаторам Петр не доверял: бесовская это, мол, хреновина – всегда врет и заводит не туда; лучше, дескать, по старинке.

– До Хултума по такому снегу не дойдем, – удрученно признал он. – Еще целых десять километров. Можем свернуть вот сюда, – отряхивая снег с густой бороды, он указал на ответвление от прибрежной тропинки, уходившее в лес. – Через километр – деревня Пять Сычей. Полсотни домов. Попросимся на постой.

Коренастый Леха – ремонтник – с присущей ему практичностью попытался возразить: не стоило бы, мол, от Чусовой отходить так далеко, особенно в лес; по такому-то снегу и заблудиться недолго; на метр впереди ни зги не видать. Но остальным так хотелось согреться, поесть и нагрузиться водкой, что они и слушать не стали.

Они тащились растянутой цепью по занесенной снегом лесной тропе, отмахали намного больше обещанного Петькой километра, а деревня Пять Сычей так и не показалась. Только снег, валуны уральских предгорий да потрескивающие от внезапного мороза деревья. Ветер выл, хлестал снегом в лицо, ослеплял.

– Ну что, поворачиваем? – предложил толстый Саня. – Возвращаемся на станцию?

– Это ж долго! – воскликнул щуплый Димон.

– Долго не долго, а тут оставаться – околеем. На станции хотя б люди живут.

– Смотрите-ка! – воскликнул Петька, указывая пальцем вперед. – Я что-то вижу, – он сорвался с места и побежал трусцой. Остальные – следом.

Эколог остановился у торчавшего из земли деревянного столба с неопрятной табличкой на кривом ржавом гвозде. Надпись было не разобрать – краска почти стерлась.

– Это Пять Сычей! – обрадовался Петька и улыбнулся во всю ширь своей бороды. – Точно Пять Сычей!

– А почему на карте они показаны на километр раньше? – засомневался Леха.

– Значит, карта неточная, – быстро нашелся эколог. – Место ведь глухое. А может, в последние годы хаты, что стояли ближе к реке, опустели и исчезли.

– Исчезли, – тупо повторил Димон.

– Ладно, пойдёмте, нам в эту сторону, – позвал Петька.

– А ты почему знаешь? – спросил Саня. – Тут тройная развилка. Дороги-то, поди, скоро совсем заметет. Потом и вернуться не сможем, если что. Заблудимся к хренам.

– Видишь, куда стрелка показывает?

Остальные пригляделись: табличка, оказывается, была не просто табличка, а вырезанная из шербоатой доски стрелка-указатель. Если считать с левой стороны, то идти нужно было по третьей дорожке из трех.

На лес опустился полумрак. Ребята замерзли как додики. Под носами выросли сосульки.

Среди деревьев показался просвет. На небольшом холме виднелись три дома. Если считать слева, то лишь третий выглядел жилым. Первый стоял заколоченным, у среднего провалилась крыша.

– Это и есть твои полсотни домов? – усмехнулся толстый Саня.

– Ну, карта старая, советская, – оправдался Петька. – Давайте к третьему дому.

Пока пробирались к жилищу, утопая в снегу по щиколотку, вдали раскатился эхом низкий, утробный отрывистый рев.

– Что это?! – перепугался Димон.

– Кажись, человек, – отозвался Леха – не то в шутку, не то всерьез.

– А мне думается, не станет человек так реветь, – сказал Петька. – Медведь, верняк.

– Медведь ниже ревет.

– Ладно, харэ сиськи мять, пойдёмте в дом.

Петька громко постучал в дверь. Затем еще раз. Потом Леха отодвинул его, схватился за ручку и дернул на себя.

Дверка открылась. Изнутри хлынуло тепло с прелым запахом деревенского жилья. Четверо переглянулись.

– Заходим, заходим, – поторопил Леха. – Тепло не выпускаем.

Они ввалились, последний плотно закрыл за собой дверь.

Тесные темные сенцы. Чугунные горшки в углу. Старые кирзовые сапоги. Одинаковые серые фуфайки на вбитых в стену гвоздях.

– Э-э-э-эй! – позвал Петька. – Есть кто?

– Видать, хозяин отошел.

– Хорошо, если не в мир иной.

Петр приоткрыл дверь в комнату. Внутри – грубо тесаный стол, три табуретки, похожая на лагерные нары кровать. На полу – вытертый половик.

На столе в тарелках – хлеб и сало. Свежие.

Натопленная глиняная печь чуть слышно гудела жаром. Леха приоткрыл заслонку, заглянул.

– Дровишки-то почти прогорели. Наверное, хозяин в лес отправился.

– Есть идея, – сказал Петька. – Давайте-ка его найдем, объясним ситуацию. А то вернется, увидит четверых пришлых лбов у себя в хате, испугается и убежит.

– Давайте, – откликнулся Леха.

– Я за, – поддержал Саня.

– А я бы лучше тут остался, – пошел на попятную щуплый Димон. – Что-то мне, ребят, совсем лихо. Замерз. Вы теплее меня одеты – вот и идите.

– Ишь ты, какой хитрожопый черт! – завозмущался Саня. – Нет уж, если идти, то всем!

– Да ладно, пусть остается, – великодушно разрешил Петька. – Ты глянь на него. Весь посинел. Втроем справимся. Пошли.

Оставшись в одиночестве, Димон уселся за стол, поудобнее пристроил голову на изгибе локтя и уснул сном младенца.

Вскинулся, когда стемнело. Он все еще был в доме один. Поднес к глазам часы, включил подсветку, посмотрел время. 20:34. Выходит, ребята отсутствуют больше двух часов.

Глянул в окно. Похмуревший день догорал последними отблесками. За вечер намело немерено. Буря поутихла, но снег не перестал, а ветер выл раненым зверем.

Димон достал из кармана мобильник, посветил на потолок. Ни лампочки, ни даже торчащего провода. Деревня без электричества.

Зато на столе стояло блюдо с огарком свечи. Димон поднес к фитилю зажигалку, как вдруг...

... снаружи донесся рев, отдаленно похожий на человеческий крик боли. Низкий, яростный, короткий.

Димон остоленел.

Вот снова! Очень близко к дому. Совсем рядом.

Что это? Скрип свежего снега под ногами? Или под лапами?

Так и есть! Шаги. Приближаются.

Димон отпрянул от окна, вжался в угол между теплой печкой и стеной.

Существо обогнуло хибарку и оказалось у двери. Димон с ужасом вспомнил, что не стал запирать засов, когда ребята уходили. Клятая беспечность!

Дверь отворилась. Послышалось старческое кряхтение. Пришедший обил снег с сапог о порожек, плотно закрыл за собой. Стал снимать верхнюю одежду в сенцах.

Соображай, мать твою, соображай! Делай что-нибудь, иначе он тебя с испуга пристрелит!

– Не стреляйте! – крикнул Димон.

Возня за закрытой дверью прекратилась.

– Мы заблудились, замерзли, оказались у вашего дома! Было не заперто. Мы просто хотели погреться. Только не стреляйте!

Шаркающие шаги. Распахнулась дверь. Во мраке проема выросла сторбленная низкорослая фигура. Человек подошел к столу, достал из кармана коробок спичек, чиркнул, зажег ога-рок свечи. Комната наполнилась тусклым теплым светом.

То был старик лет восьмидесяти. Высохший, маленький. С густой, неухоженной бородой. Жилистый. Живчик – помирать явно не торопился.

– Здравствуйте, – поздоровался Димон, поднимая руки и выходя из угла.

– Сдаешься? – усмехнулся хозяин. Голос был сухой, как прошлогодняя осенняя листва.

Димон опустил руки, виновато улыбнулся дрожащими губами. Ружья при старике не было.

– Дык чаво ты там говорил? – спросил дед.

Димон сбивчиво рассказал, как они с друзьями отправились в поход, как внезапно повалил снег, как они набрали на домишко, как ребята отправились искать хозяев.

– Это ведь деревня Пять Сычей? – спросил Димон.

– Хо-хо-хо! – рассмеялся дед. – Вы с развилки по какой дороге пошли?

– По третьей слева.

– А надо было по первой – тогда бы попали в Пять Сычей. Там-то народу поболее. А тут-то я один остался.

– Как мне к вам обращаться?

– Чаво?

– Как вас звать?

– Тимофей Иваныч я.

– Дмитрий, – он протянул руку для пожатия, но собеседник проигнорировал жест вежливости.

Тебе тут не рады.

– Вы ребят не встречали в лесу?

– Не, никого не видал, – повернувшись к гостю спиной, дед рылся в тряпье на подоконнике у стола.

– Их уже два часа нету. Даже больше. Что делать?

– Ни хрена. Ждать.

– А вдруг они в беде?!

Старик по-молодецки развернулся и заглянул непрошеному гостю в глаза.

– Ты тут-то не ори, сынок. Не люблю, когда орут у меня в хате. Слух покамест хороший, слава богу.

Димон смутился.

– Ты, братец, не суетись, – дед положил сухую ладонь Димону на плечо и стал совсем другим – добрым, гостеприимным. – Сядь подкрепишься. Вот сало сопного приготовления, хлеб – тож, из печки. Поешь. Небось голодный. Лучку, правда, нету, только к лету будет, тут уж не серчай...

При упоминании о еде Димон понял, что зверски голоден. Второго приглашения не понадобилось. Он сам отрезал ломоть хлеба, положил сверху сала, стал откусывать большие куски, жадно жевать.

– Во, другое дело, – похвалил Тимофей Иваныч, усаживаясь напротив. – Соткуда сами?

– С Перми, – ответил Димон с набитым ртом.

– Погулять прибыли, значит?

– Вроде того. В поход с ночевкой.

– Эх, ребята! Зря вы так рано. В походы самое оно ходить в мае, июне. А то у нас тут так часто. Вроде в апреле, кажись, уж почти лето, а тут – херак! – и снегопад – вот как нынче.

– Первый раз такое вижу.

– Потому что в городе живешь. В Перьми-то небось тепло шас. А вы забрались к черту на рога.

"Странно, – подумал Димон. – Не такое уж большое расстояние, чтоб настолько разнилась погода".

– Ты кушай, кушай. Мне не жалко. У вас-то пожрать есть чаво с собой?

– Тушенка.

Старик поморщился.

– Дрянь-то какая... Тута у меня все свое. Я по весне поросю завожу, откармливаю, а по первым снегам закальваю. На всю зиму хватает. А весной уж утки дикие идут, куропатки. Не бедствую. Хлеб тож сам пеку. Много все равно не ем. Оно с возрастом, знаешь, уж и не нужно-то много.

– Хорошо вам тут одному, наверное, – разговорился Димон, наевшись. – У меня вот мечта – подзаработать, уехать в деревню. Подальше. Чтоб вокруг ни души... Вам, смотрю, и деньги-то не особенно нужны.

– Пенсию получаю, покупаю кой-чаво. Спички, всякое по мелочевке. Хватает... Вкусное сало?

– Еще какое!

– Во-о-о-о-о-от! Дед Тимофей умеет!

– А что за животное тут ревет постоянно? – сменил тему Димон.

– Вот это? – спросил дед. Снаружи донесся рев – как будто по команде старика.

– Ну да, – растерянно отозвался Димон.

– А, не знаю, – отмахнулся Тимофей Иваныч, отводя взгляд в сторону. – Зверь какой-то ходит. Бывает, спать мешает.

– Не нападал на вас?

– Не. На глаза не показывается. Мал клоп, да вонюч, как говорится... А ты своим друзьям по етому своему... как его... сотовому звонить не пробовал?

– Тут сети нет. Не ловит.

– Хреново дело, браток. За три часа уж сто раз бы вернулись, кабы могли.

У Димона внутри росло черное отчаяние. Вот бы распахнулась дверь, и на пороге появились друзья – все трое. И нашлось бы какое-нибудь смехотворно простое объяснение их долгому отсутствию...

– А как эта деревня называется? – поинтересовался Димон.

Тимофей Иваныч выдержал паузу.

– Три Лица.

– Странное название.

Старик пожал плечами.

– На Урале таких пруд пруди. Вон, Пять Сычей – не странное?

– Не знаете, почему так называется?

– Знаю, конечно! Я ж тута коренной. У меня и мать с отцом, и дед, и прадед – все сотсюда. С Трех Лиц. Я последний. Все померли да поразъехались. – Казалось, старик хотел увитьнуть от ответа на вопрос.

– Так почему Три Лица? – настаивал Димон.

Тимофей Иваныч зыркнул исподлобья.

– Снегопад кончился, – вкрадчиво произнес хозяин, покачивая головой. – Самое время поискать твоих ребят.

– Расскажите все-таки сначала про Три Лица, – попросил Димон подрагивающим голосом. Он тянул время. Даже мысль о том, что его друзья попали в беду, не смогла подавить желания отсидеться до утра в теплом домишке. Выходить в колюче-холодную тьму – туда, где ревели неведомое животное, – нет уж, дудки!

– Ну, раз просишь, – нехотя согласился дед. – В общем, Три Лица – это вроде как местный злой дух. Есть про то старый уральский сказ – еще с древних времен. Когда еще русские сюда не то что не явились порядки свои скотские наводить, а знать не знали про такое место – перьмь. Три Лица – огромная толстая баба в шубе из лоскутов человеческой кожи. У ней одна большущая башка, а лица целых три – тех, кого она сожрала последними.

– Сожрала? – оступело повторил Димон.

– Ага. Если трое путников забредут в ее логовище в чащобе, она их сожрет, кости дочиста обглодает. Если больше или меньше – не тронет. Мне бабка моя рассказывала маленькому, как трое ейных подружек в лес пошли. Дело было в пору бабкиного детства. По ягоды, значит, собрались. И бабка моя с ними должна была. Да не пошла – по дому мамке надобно было помочь. Девки пропали, сгинули. Искали их всей деревней. А потом мамка да папка одной вернулись домой какие-то пришибленные да разговаривать совсем перестали. Месяц молчали, а потом языки у них все ж развязались. Сказали, будто встретили они в тот день в лесу огромную бабу в шубе из голой кожи. Она к ним башку повернула – а там три лица. То были лица пропавших девок. Баба на родителей шестью мертвыми глазами зыркнула, развернулась да исчезла. Вот так-то. А еще – это уже на моей памяти – в тридцать седьмом была история. Тута ж у нас, в Пермском-то краю, одна сплошная зона. Лагеря, лагеря, лагеря. Беглых эков тьма тьмущая. Вот так трое с ближней зоны сбегли да дотопали до тутошних мест. Зашли в деревню нашу. Хотели обобрать одну старуху, да та прикинулась – мол, ей их жалко. Сама отдала все съестное, что у ней было, тряпки какие-то тож, пожитки. И указала, какой дорогой идти. Знала, ведьма, где баба Три Лица живет. На следующий день пошла в лес – вернулась с узелком, что сама собрала беглым экам. Вот. А еще лет эдак тридцать назад забрели сюда трое туристов – два парня да девушка. Комсомольцы, энтузиасты, студенты, мать их налево, тьфу! Место для большого слета, говорят, разведывать. Ну, их кто-то в шутку и послал по тому ж маршруту, что бабка отправила беглых эков. Никто их больше и не видал с тех-то пор. Нашли только вещички в крови. Видать, угодили прямиком в логовище бабы Три Лица. Во как бывает.

– А вы сами в эту бабу Три Лица верите? – спросил Димон, нервно сглотнув.

– Да кто ж знает, есть она или нет, – уклончиво ответил Тимофей Иванович. – Я-то сам не видал... Ну что, пошли твоих искать? – он встал из-за стола, взял старую фуфайку и швырнул Димону. – На, надень, а то замерзнешь. И топор вот возьми. Ежели какой опасный дикий зверь – промеж глаз ему садани, не тушуйся. Крупных тута быть не должно. Волки, медведи – все перевелись давно уж. Мож, собака какая, не знаю. У меня-то руки уж слабые, я не замахнусь как надо. А ты молодой, потянешь. Пошли.

Димон кое-как напялил на себя фуфайку и удивился, увидев на ней грязный, вытертый номер лагерного заключенного.

Взял топор.

Тучи рассеялись, взошла луна. Неземной свет отражался от полотняно-белого снега. Лес, пригорки, валуны – все подернулось пленкой синеватого свечения.

Издали послышался отрывистый рев.

– Вот видишь, – сказал Тимофей Иванович. – Та зверюга нас сама боится как огня. Аж вон куда ноги унесла. Пошли.

Они двинулись по просеке. Лес молчал. Только хрустел под подошвами свежий снег, хрипло дышал старик, да безответно звал друзей Димон. Рев тоже временами слышался, но с каждым разом все дальше.

Они долго брели, утопая в снегу, – пока местность не пошла под уклон. Лес сгустился. Просека превратилась в едва заметную тропку.

– Вот, видать, где-то тута они и заплутали, – сказал Тимофей Иваныч. – Если ты не местный и очутился в такой чащобе, сразу назад повертывай. Эт я тут каждую травинку знаю, а вы... – он махнул рукой, гневно сплюнул в снег. – Э-э-э-э-эх! Дрочили городские!

Вскоре в чащобе показалась поляна, посреди которой громоздился серый валун в шапке из снега. Его окружили несколько елей – стояли как язычники вокруг идола.

– Давай-ка наверх взлезем, – промолвил старик. – Соттуда окрест получше видать.

Они обогнули валун, за которым прятались еще два помельче; взобрались по уступам наверх. На самом высоком месте росла одинокая ель. Снег под ней был в брызгах свежей крови. Повсюду – дочиста обглоданные кости и ошметки одежды.

– Вот те раз, – озадаченно брякнул старик.

– Что это?! – воскликнул Димон. Внутри у него снежным комом росла паника.

– Друзья твои – вот что, – сварливо бросил Тимофей Иваныч.

– Кто... кто мог...

– Да я почему знаю.

Димон задыхался. Его захлестнула волна животного страха.

– Дай-ка топорик сюды, – приказал дед. Димон, словно робот, протянул ему топор.

Тимофей Иваныч подошел к ели, уселся на корточки спиной к спутнику и принялся что-то делать. Димон тупо глядел перед собой. В голове не было ни одной внятной мысли.

– Трое их было, говоришь? – произнес дед, не оборачиваясь.

– Трое, – бесцветным голосом ответил Димон.

– Эт зря. На какую тропинку, говоришь, вы у развилки свернули, ежели слева считать?

– На третью.

– В какой дом, ежели считать слева, заглянули погреться?

– В третий.

– Сколько тут валунов?

– Три.

– Сколько я тебе историй нынче рассказал?

– Три, кажется.

– Твоя правда, малец.

– И что?! – паника уступила место раздражению. – Не верю я в эти ваши хреновы сказки! Вы ЗНАЕТЕ, кто их убил!

– Хе-хе! – недобро усмехнулся дед.

– Чего смеетесь?!

Димон сжал кулаки и двинулся к старику. Тот поднялся на ноги – словно пружина распрямилась.

– Ты погоди, сынок, – сказал Тимофей Иваныч, все еще не оборачиваясь. В руке он сжимал топор. – Не торопись. Некуда тебе торопиться.

Димон остановился в растерянности: дедов голос звучал слишком спокойно. Настолько невозмутимо, что пугал.

– Я тебе не сказал кой-чаво про бабу Три Лица. Когда ей надо, она может человеком прикинуться. Легче легкого. Ну и на всякие другие чудеса горазда.

Старик стал расти, разбухать – пока не сделался почти в два раза выше Димона, а заодно и в несколько раз шире. Раздался тугий щелчок. То лопнула дедова обескровленная оболочка. Кучей тряпья и сухой кожи она упала на снег.

Великан, одетый в шубу из желтоватого материала, стоя спиной к Димону, издал отрывистый рев – тот самый. Повернулся неспешно.

Из отороченного выдранными с корнем человеческими волосами капюшона выглядывал кусок красного мяса, а из него высунулись три лица. То были лица убитых друзей – посинелые, мертвые. Три рта одновременно раскрылись, словно приводимые в движение внутренним механизмом.

– Вот и ты попался, – произнесли в унисон три жутких голоса.

– Вы... ты же... ты же сказал... сказала, что... – Димон тщетно пытался собрать в кучу расползающиеся слова.

– Что нападаю на путников, только когда их трое? Так то ж в сказе. А так-то и на одного могу. И на пару. И на четверых... А ты, никак, по правилам захотел? – с усмешкой полюбопытствовала баба.

Не в силах выдавить ни звука из пересохшего горла, Димон закивал – авось пронесет.

Баба Три Лица подняла топор, казавшийся в багровой лапище детской игрушкой, и произнесла своими леденящими кровь тремя голосами:

– Что ж, уболтал. Будь по-твоему. Топориком немножечко поработаю – станет тебя не один, а трое. Тогда и съем. Все по правилам. По сказу. Как ты просил. Тут уж не серчай.

Вадим Вербицкий

Ужасный жребий

События, о которых пойдет речь, можно без преувеличения отнести к удивительным и в высшей степени заслуживающим внимания любителей макабристики... да и в принципе, всего пугающего и потустороннего. Но только лишь с одной стороны. С другой же, они воистину ужасны и, определенно, могли повлечь за собой непоправимый ущерб моей психике или даже окончательно свести с ума. По правде говоря, они не прошли для меня бесследно, навсегда поселив в душе моей страх перед ночным небом, когда оно усеяно мерцающими звездами. Ведь я видел то, что не предназначено для глаз обыкновенного смертного человека.

Прошел уже без малого год, а я все еще не способен отделаться от мучительного опасения, что где-то среди толпы, может быть, на шумном рынке или в глухом переулке мне снова повстречается одна из проводниц таинственного поезда. Тогда, вне всяких сомнений, я брошусь бежать сломя голову, только бы скрыться от этих безжизненных глаз и никогда больше не слышать ее нечеловеческий голос. Несомненно, все эти непрекращаемые, изводящие меня страхи являются следствиями глубокой психической травмы. Я точно знаю, что дни мои сочтены и все, что мне пока остается, это находить ложное и непродолжительное успокоение в алкоголе и сильнодействующих успокоительных.

Данный рассказ описывает все, что со мной произошло, вплоть до того момента, когда я обнаружил себя на пустыре в пятистах километрах от родного города – обнаружил себя лежащим на сырой почве, вдали от железной дороги, к великому сожалению своему, не утратившего подробных воспоминаний об ужасном черном поезде и о последних страшных словах той чуждой твари из неведомых областей вселенной.

Откуда выехал поезд, и в котором часу он начал свое движение по четвертой железнодорожной ветке, остается для меня загадкой по сей день. Впрочем, я бы ни за что не осмелился сорвать покров с этой ужасной тайны. Мне только известно, что первым пунктом отправления, где ужасный черный состав из девяти вагонов распахнул свои скрежещущие двери, была станция "Восточная", первая остановка при въезде в город.

Это было сырое холодное утро, в сером небе кружили снежные хлопья, которые таяли еще в воздухе и оставляли на асфальте мокрые пятна, словно от крупных капель дождя. Ветер гудел в проводах высоковольтных линий, тянувшихся вдоль железнодорожных путей. Над головами ожидавших электричку людей эхом разносилось трескучее карканье ворон. На покореженных, выщербленных шпалах темнели комки бурой глины, а среди них в живописном изобилии валялись куски кабелей и прочий мусор.

Начало рабочей недели ознаменовалось приходом ночных заморозков и первым снегом. Прошли Рождественские святки, и праздничные настроения будто сдуло этим леденящим, промозглым ветром. Люди были мрачны и угрюмы. Разглядывая их по своему обыкновению, я удивлялся, насколько удручающе гармонировали их одинаково хмурые лица и мрачные насупившиеся фигуры с наступившим ненастьем и окружающей серостью, словно станция "Восточная" наполнилась призраками, обреченными пребывать здесь в вечном ожидании своего поезда.

Меня всегда завораживал вид ретроспективы железной дороги, наводящий на представление о некоем пути в пугающую неизвестность. Как будто там, в недостижимо отдаленном месте, где сужается пространство, а время, точно застывшая в полете капля воды, есть нечто недоступное пониманию человека. В той нулевой точке, где сходятся воедино три оси физического пространства, быть может, существует некий неведомый фактор, непостижимый

нумен... Давая, таким образом, волю воображению, я представлял пульсирующую червоточину, являющуюся чем-то вроде пространственной аномалии, или своего рода окна, сквозь которое можно было бы заглянуть в иной мир. С необыкновенной внутренней дрожью я думал о том, что могло скрываться от наших глаз за пределами известной действительности. Неизреченное священное "нечто" или же неопикуемый космический ужас, столь возлюбленный Лавкрафтом? В конце концов я заключил, что едва ли нашел бы в себе смелость посмотреть за завесу измерений.

Пребывая все еще под впечатлением собственных макабрических размышлений, я отошел от края платформы, потянувшись в сумку за пачкой сигарет, как вдруг услышал протяжный гудок. Сначала я решил, что это был всего лишь отдаленный шум ветра в проводах, поскольку до прибытия электрички, согласно расписанию, оставалось не менее четверти часа. Но потом я заметил, что звук этот насторожил не только меня. Большинство людей, которые явились на станцию столь же рано, стали подходить к краю платформы, пытаясь высмотреть приближающуюся электричку. И я в свою очередь опять устремил взгляд в серую бездонную даль железнодорожных путей. Но ни единого признака того, что электричка находилась на том расстоянии, что соответствовало бы сигналу, который к тому времени прозвучал уже совершенно отчетливо, я не обнаружил. Я посмотрел в противоположном направлении, но и там ничто не свидетельствовало о ее приближении. Подобное недоумение я увидел на лицах окружающих меня людей, число которых возрастало с каждой минутой.

Какая-то старуха со сморщенным лицом поднялась со скамьи и демонстративно перекрестилась. Кто-то из толпы над ней посмеялся, а она тем временем судорожно шевелила губами и опять размашисто накладывала на себя крест. Перекрестившись трижды, она вдруг обвела всех испуганным взглядом и скрипучим старушечьим голосом вымолвила:

– Не та электричка... не вздумайте сесть!

Конечно, слова ее никто не принял всерьез. Чокнутая, – подобно остальным, решил я и снова стал выглядывать поезд.

Следующий сигнал прозвучал так громко, будто поезд подъезжал к станции. Задрожала земля. И вместе с тем стал явственно слышен стук колес и пронзительный скрип тормозов. Но к всеобщему изумлению, самого состава было все еще не видать.

Меж тем старуха что-то непрерывно бубнила. Потом она осенила воздух крестным знаменем, как бы обращая его на стоявший на платформе народ, и поспешно засеменила прочь. Через полминуты она потерялась из виду. Теперь я жалею, что не последовал ее примеру.

Ошеломленные люди разводили руками и обменивались испуганными взглядами. Шум подъезжающего состава и дрожь под ногами свидетельствовали о том, что электричка прибыла на станцию, но ее все еще не было видно.

Именно в тот момент, когда раздался металлический лязг раскрывающихся дверей, на глазах у пораженных очевидцев, словно по щелчку пальцев мага-иллюзиониста, внезапно возник черный вагон. Как выяснилось, он являлся замыкающим, поскольку в следующую секунду, будто насмехаясь над уязвимостью человеческого разума, стали появляться один за другим остальные вагоны – точно такие же, черные, как жерло, бездны, с красными, наполовину стертыми надписями на корпусах.

Очевидно, между словами "Креатон" и "Меларум" недоставало нескольких букв.

Странное зеленоватое свечение выплеснулось из открытых дверей, но к своему сугубому удивлению, я вдруг понял, что он не отражается на влажной поверхности платформы. Окна были сильно затемнены, и свет сквозь них почти не проступал.

И из этой бледно-зеленой дымки выплыл будто призрачный фантом, стройный женский силуэт. С первого же мгновения, когда я увидел его, меня посетило какое-то неясное волнение. Это определенно была женщина... здесь я затрудняюсь описать это странное и непонятное для

меня чувство или какое-то смутное сомнение, сопровождаемое страхом, появившимся, когда я взгляделся в белое лицо бортпроводницы.

Несмотря на тонкую талию и впечатляющую стройность фигуры, лицо девушки, обрамленное прядями длинных черных волос, напоминало лицо трупа, и от взгляда ее блеклых, но пронзительных глаз меня пробрало ледяным холодом.

Девушка разлепила свои серые губы, и мне показалось, что это далось ей с трудом. Затем она вымолвила что-то, чего я не разобрал, вымолвила таким голосом, глубина и тембр которого только укрепили мое подозрение в том, что она представляла собой ходячий труп.

Люди застыли в каком-то нелепом оцепенении, и страх на их лицах был очевиден. Я обратил внимание на то, что в проеме каждого вагона появилась проводница подобной наружности, стройная, с красивыми чертами на бледном с впалыми щеками лице и серыми онемевшими губами, которые не желали двигаться, чтобы обращение ее звучало достаточно внятно.

Тем временем люди стали подтягиваться к краю платформы, толпясь у раздвижных дверей. И так на протяжении всей станции мужчины и женщины словно походили с ума, ожесточенно толкаясь, чтобы попасть в поезд.

Сказать, что внезапная перемена, произошедшая в настроении толпы, поразила меня, значит не сказать ничего. Я был просто ошеломлен, и тревожная настороженность моя мгновенно переросла в глубочайший шок. Недоверие мое возросло безмерно, и я понемногу стал удаляться, осторожно пятясь короткими шагами.

Вероятно, какое-то гипнотическое внушение заставило их потерять здравый смысл и утратить всякую человечность, поскольку первоначальный внезапный ажиотаж мало-помалу перерос в настоящий хаос. Только что они обменивались оскорблениями и раздраженно кричали, щедро раздавая пинки и пихаясь локтями, как вдруг стали набрасываться друг на друга с какой-то слепой животной яростью, кусаясь и рыча, точно бездумные зомби.

Напуганный происходящим, я засеменял увереннее, но зачем-то оглянулся и поймал на себе пристальный взгляд проводницы – и в страхе вздрогнул. Ее окоченелый рот искривила злобная улыбка, сквозь которую проглядывали острые темно-серые зубы. Мне снова показалось, что девушка прилагает немалое усилие, чтобы использовать мимику своего лица. В ту секунду я вспомнил старуху, что удалилась со станции, прежде чем началось это безумие. Я перебросил лямку своей дорожной сумки через голову и уже набрался решимости бежать что было мочи прочь от этого страшного поезда. Но то, что случилось в следующий миг, заставило меня застыть на месте, позабыв обо всем на свете.

В третьем окне слева от входа, отодвинув край матерчатой занавеси, выглянуло нечто, от одного омерзительного и невероятного вида которого я ощутил слабость в ногах и тошноту.

С огромной конической головы на меня глядели тусклые рыбы глаза, смотрели они немигающим матовым взглядом. Голова сужалась книзу и была обрамлена множеством коротких движущихся хоботков, с маленькими зубастыми ртами на каждом из них. Когда я рассмотрел эти жуткие детали через оконное стекло, безрассудный страх лишил меня последних сил...

Видимо, пребывая в глубоком обмороке, я видел нездоровый сон или галлюцинации, вызванные психическим потрясением. Иначе, как еще охарактеризовать ту череду странных видений, которая проносилась пред взором, все глубже погружая меня в темные пучины неопишемого ужаса?

На протяжении всех видений меня сопровождал приглушенный ритмичный звук, как будто предназначенный для одной лишь цели – чтобы удерживать меня в этом гипнотическом сне.

Мой ум не утратил ясность, и картины, предстающие предо мной, казались потрясающе реальными. Их характер был неимоверно пугающим и временами почти невыносимым в своем кошмарном представлении.

Я обнаружил себя на маленьком островке света, источником которого был обыкновенный уличный фонарь. Под ногами моими бледнел клочок покрытого оспинами асфальта, его края резко заканчивались там, где черной стеной стояла непроницаемая тьма. Чувство страха боролось во мне с внезапно возникшим любопытством, и я протянул руку, чтобы коснуться этой плотной черноты, как вдруг увидел слабые блики микроскопических огоньков, появившихся повсюду в одно мгновение. Бесчисленным множеством они рассыпались вокруг, но их холодный мерцающий свет был неспособен рассеять этот незыблемый стигийский мрак.

Мириады звезд словно наблюдали за мной из безмерной космической пустоты.

Загадочный гипнотический стук, упомянутый мной ранее, был непрерывен, однако с появлением звезд, высыпавших на черном полотне тьмы, появился далекий беспорядочный грохот, идущий откуда-то из космических глубин. По мере его приближения, свет фонаря заметно тускнел, пока, наконец, он не погас совсем, оставив меня в крошечной темноте.

Итак, я словно заключенный в объятия абсолютного небытия стал ожидать появления чего-то непомерно ужасного, мчащегося с чудовищной скоростью сквозь безымянный космос.

Только благодаря тому, как вдруг меркли и вновь загорались звезды, мне удалось заметить приближение огромного продолговатого объекта. Через несколько коротких мгновений он остановился на некотором расстоянии от того места, где посреди бесконечности располагался мой нелепый эфемерный островок. С металлическим скрежетом и тем характерным звуком, который можно было принять за распределение воздуха в тормозной системе поезда, объект прекратил свое движение.

Рассмотрев его вблизи, у меня не осталось сомнений в том, что это был поезд. На корпусе его вагонов выделялись крупными красными буквами уже знакомые мне маркировки, только теперь надписи были четкими и гласили: "Креатон-Сотот-Меларум".

Возможно, следующий эпизод моих видений способен предвосхитить даже самую бредовую фантазию морфиниста.

Двери вагонов разошлись. Жуткое фосфоресцирующее создание выскользнуло из прямоугольного проема, направляя перед собой свои тонкие шевелящиеся усики-антенны, словно гигантская креветка с круглой белесой головой. Когда существо полностью очутилось снаружи, из его отвислого брюха вывалилось несколько пар конечностей, которые мгновенно принялись ощупывать пустое пространство под собой, делая это быстрыми рывками. Вслед за кошмарным пассажиром показалась паукообразная тварь вдвое меньше его размером, однако же, и вдвое безобразнее его. Раздутый темный овал с шестью лапами, освещенный холодным тусклым светом звезд, нырнул в бездну космоса и исчез из виду.

Мое внимание привлекло движение на другом конце вагона. После выхода трех ящеровидных чудовищ, которые расправили свои необъятные переливчатые крылья, как только свободное пространство предоставило им такую возможность, показалась человеческая фигура. По крайней мере, это могла быть фигура гуманоидного существа, облаченного в темно-зеленые одежды. На месте, где должно было быть лицо, у него находился отвратительный нарост в форме конуса, переходящий в длинный изгибающийся хобот или щупальце, увенчанное светящейся желтой сферой, которую я не сразу принял за глаз.

Множество и других, не менее ужасных существ, внешний вид которых не представится даже в горячечном бреду сумасшедшего, покинуло тот черный, едва различимый на фоне космической тьмы поезд. Но к тому моменту, когда из окна последнего в составе вагона протиснулось нечто, напоминающее длинного бесцветного слизня, покрытого множеством желтых глаз и зубастых ртов, мой разум уже бился в конвульсиях безрассудного ужаса.

С истошным криком я вырвался из омата кошмарного сюрреализма. И первое, что я различил по пробуждении, было ритмичное убаюкивающее постукивание. Когда я понял природу этого звука, что непрерывно слышался мне во сне, от которого я только что освободился, то

едва сдержал себя, чтобы не закричать снова. Поскольку, сбежав от ужаса видений, я очутился в кошмаре наяву.

Стук колес и мелькающие за окном угрюмые поля, припорошенные грязным сероватым снегом, заставили меня усомниться в том, что я действительно проснулся. Напротив меня с абсолютно отсутствующим видом сидели двое молодых мужчин, которых я сразу узнал, поскольку они были одними из тех несчастных, кого я видел на станции. Темноволосый широкоплечий парень в желтом плаще отупело пялился в пол, одна его щека была расцарапана, на нижней губе запеклась кровь; а тот, что располагался на краю сидения, то есть ближе к проходу, отрешенно смотрел в окно; левый рукав его пальто был почти оторван, волосы и лицо выпачканы грязью, а одна бровь рассечена.

Я не помнил, чтобы по своей воле входил в поезд. Но то, что открылось моему взгляду за мгновение до потери сознания (определение это не совсем верное – я вполне осознанно наблюдал те ужасные картины), мне не забыть никогда. Так что в смятении и страхе я спрашивал себя, как сюда попал?

Легкое покалывание в кончиках пальцев и холодок, идущий вдоль позвоночника, а также учащенное биение сердца уже окончательно уверили меня в том, что я не спал. Я размял затекшую шею и опасливо осмотрелся.

Плацкарт был по большей части пуст. Немногочисленные пассажиры, напоминавшие безвольных кукол с пустыми стеклянными глазами, имели отвратительный бледно-зеленый оттенок кожи. Дело было в свете ламп, разлитом по салону – он напоминал взвесь ядовитых грибковых спор. Мое раннее сравнение с зомби казалось справедливым, но все же я не был лишен понимания, что все эти пострадавшие пассажиры, угодившие в эту странную и загадочную историю, оказались жертвами какого-то коварного внушения.

Их насупившиеся неподвижные фигуры покачивались в такт движения поезда. Доносился приглушенный стук колес, и на стекла, казалось, давила внешняя темнота.

Меня охватила крупная дрожь, когда за окнами замелькали белые и синие звезды. Нет, это не были огни города или другие источники электрического света. Но эти звезды из неопознанных миров, живые и бдительные, они будто наблюдали за тем, чтобы поезд неуклонно следовал своей цели. Это объяснение дала мне интуиция, и у меня не было оснований ей не верить.

Возможно, минуты две назад я видел еще что-то напоминающее окраины города с их неказистыми домиками, с крышами из замшелого серого шифера, самые обычные виды, однообразные и знакомые. Когда же я покончил с осмотром салона и перестал разглядывать присутствующих странно нахохлившихся пассажиров плацкарта, то вновь обратил взгляд в окно. И уже ничего, что в моем представлении могло вписаться в рамки привычного, я там не обнаружил. И сколько бы я ни вглядывался в темнеющий сумрак снаружи, никак не мог различить в нем знакомый загородный пейзаж из унылых грунтовых дорог и испещренных рытвинами тропок, голых полей и щербатых полесей; не представлялись вниманию моему и высоковольтные вышки и столбы, и темное небо, казалось, таило теперь в себе что-то новое, чуждое и нездешнее.

Пока я старался постичь происходящее, появился жёлтый сферический объект, вначале ошибочно принятый мной за луну. Он возник на странном небе после появления красных звезд, от яркого сияния которых белые и синие их предшественницы померкли и приобрели вид чёрных точек – определенно таких же, что наблюдал я в своем кошмарном видении. Я сказал "желтый", но его цвет скорее напоминал кровавый отблеск закатного солнца на поверхности темных вод. И сфера эта росла, раздуваясь, как пульсирующее жерло, готовое вот-вот извергнуть огненную лаву.

В тот самый миг, когда раздался резкий лязг сомкнувшихся дверей, гигантское солнце, звезда или, быть может, огненный глаз самого сатаны исчез мгновенно – и все вокруг, снаружи во внешнем изменившемся мире и внутри самого поезда, погрузилось в крошечную тьму.

Присутствие проводницы, невидимой в темноте, выдал едва уловимый шелест, раздавшийся рядом в проходе. Задышавшись от волнения, я вжался в спинку кресла, отказываясь верить всему, что меня окружало... верить в мое физическое присутствие в этом дьявольском поезде среди невероятных химер, в мелькающие за окном странные звезды и красные светящиеся глаза, только что вспыхнувшие надо мной.

Как описать тот отвратительный голос, что издавало это ужасное создание? Возможно, некоторые сравнения, которые могут показаться вам нелепыми, вызывающими скептический смех, помогут мне, автору этих невероятных и химерных строк, в этом нелегком деле. Представьте себе деформацию какой-нибудь громадной металлической конструкции, например, моста, переброшенного через реку, и стон, что издает он под воздействием высоких температур в то время, когда по нему происходит движение тяжелого транспорта; а теперь вообразите, как этот металлический звук сливается с пронзительным скрежетом попавшего под пресс автомобиля, и вот этот невыносимый для слуха диссонанс в коей-то мере может быть сравним со звучанием ужасного голоса проводницы.

– *Этот маршрут не твой*, – вымолвила она с почти нестерпимым металлическим визгом. – *На следующей станции ты сойдешь с поезда. Ты вернешься в свою обитель, ты будешь медленно умирать... тебя убьет не Он и не Оно, и Вечный Мрак не наградит тебя блаженным безумием, как всех прочих в этом составе и вне его. Тебя поглотит пучина беспощадного одиночества и отстраненность от всех и всего, что было тебе дорого. Утратив связующую нить с самой жизнью, ты станешь пленником непостижимых страхов, пока Прародитель ужаса не явится за тобой в своем временном облике, чтобы отнять у тебя и тебе подобных последнюю тлеющую крупинку света. Все услышанное тобой запиши, чтобы помнить и ждать в мучительном страхе, ибо Ползучий Хаос питается страхами и отчаянием людей.*

Вот, я записал все, что было со мной, и обращение жрицы Ньярлатхотепа отныне приурочено к этой реальности – нам с тобой известной и привычной. Ты, прочитавший мое послание, которое суть не мое, но самого Ползучего Хаоса, раздели же со мною жребий.

Ю_Шутова

Отступница

А

Чаша мыслесвязи заскакала по краю стола, того и гляди свалится. Угораздило ее так оставить, думала, уж никто не станет меня помогать в предрассветный час. Выскочила из постели, куда только-только забралась, и подхватила хрупкую стеклянную посудинку на лету. Наверно, Томила – кому, кроме муженька, я нужна в такое время. Работает – времени не замечает – ночь, день, без разницы. В пещере его всегда ночь – сумрак в углах, свет факелов, призрачные светляки от сказанных заклятий.

Нет, не Томила. Только бормотнула заклинание связи, как в голову ввинтился вопль Осьмуши, мужнина помощника. Ясно дело, мысль – не речь, чувственного окраса не имеет, но я прямо почуяла запах страха.

– Он ушел! Ушел! Ты слышишь, Купина? Ушел! – орал Осьмуша, будто "ушел" – война, чума, стихийное бедствие.

Накрыло волной паники.

– Кто ушел, Осьмуша? Куда? Объясни по-человечески.

Но я уже знала. Знала. Он все-таки решился. Но что-то пошло не так.

– Мормагон! Ну то есть господин Томила. Купина, что делать-то, а? Заявлять? Я на три дня отпросился. Он сам разрешил. Я уехал, а он... Он специально меня отпустил. Это он сам. А я...

Ясно дело, сам, а ты, недотыкомка, ни в чем не виноват. Так тебя понимать? И трясешься ты за себя. Твой хозяин запретной волшебной силой занимался, а ты, типа, не знал. А знал – чего не донес? Ох, Купина, не Осьмуше-криворуку разруливать ситуёвину, что твой благоверный замутил, тебе, родимая. Знала, что рано или поздно вляпаешься. Знала, когда за некроманта замуж шла. Ну вот и вдарил набат над головой, грохнул железным биллом: "Вставай, девонька! Ноги в руки и вперед!"

– Спокойно, – отвечаю, – не пыли. Сиди в пещере, не выходи и не впускай никого. Я уже мчусь. Приеду, сама разберусь. И с Мормагоном, и с Веденейским Собором, и с тобой, Осьмуша, – на последние слова надавила, чтобы проняло: не дай, Велес, послушается, доберусь – ноги вырву, в склизкую жабу обращаю, по ветру развею.

Я лихорадочно металась по дому, швыряя в заплочный сидор что попало: магические причиндалы, учебные записки трехлетней давности, летние сарафаны, хотя уже лютень на дворе, и хлеб со стола. И вдруг встала столбом, застыла посреди поднятого вихря. Что это я? Поддалась панике, вдунтой в голову Осьмушей. Ему от страха корчиться не зазорно, – людина неразумная. Велик ли спрос? А тебе, Купина, – стыдоба! Ты сама веденея Первого уровня. Ты сама в Веденейском Соборе. Недолго, правда, с той ночи едва седмица миновала, луна еще на ущерб идет. Ты такой отбор прошла, такие испытания выдержала, а пихаешь в мешок столбцы с простейшими заклятиями, что учеников зубрить заставляют. Рванулась, едва на мороз в нижней рубашке не выскочила. Куда заспешила? Там, куда твоего мужа вынесло, времени нет. Опоздать невозможно.

Вывалила все на смятое одеяло. Начала по новой собираться. Вдумчиво.

Слышу сопение под кроватью. Дрема, домовик мой, внимание к себе привлечь старается.

– Чего тебе, Дремушка? Уезжаю я. Ты за хозяина.
Сильнее сопит, обиженно.
– Знаю, скучно тебе одному.
Выкатился рыжим лохматым клубком:
– Возьми меня с собой!
– Куда, Дрема? Ты ж домовый! При доме, стало быть!
– Я семьсот лет при нем. Как твоя прапрапра, – загибает волосатые пальчики, – или четыре пра? Не упомнить вас, мелькаете слишком быстро. Короче, как твоя предка дом поставила, так и сiju. Скука. Заклятья наложи, никто не влезет. А мне мир посмотреть охота.
– Ладно, – говорю, – полезай в валенок.
– Не-а, там мышами пахнет. Лучше в шапку.
– Шапка мне на голову, стужа на дворе.
– Во! И я под шапкой.
Не спорить же.

Что еще взять? Мокошь-заступница, я и забыла! Метнулась в чулан. Из сундука, что со времен досюльных стоит, вытащила маленький ларчик, железный, гладенький. Никаких на нем рун-знаков. И замка нет. И внутри ничего нет. И что это за ларец, никто у нас в доме никогда не знал. Когда, как сказал Дрема, моя предка, ведьма Некраса, помирала, его дочери передала. Сказала: "Храни, однажды пригодится". А на что, не сказала. Хмыкнула только: "Тебе лучше не знать". Так оно и прозывалось: "лучшенезнать", испокон веку в сундуке валялось – не пылилось, не ржавело. Заклятья заклиньями, а если упрут семейное сокровище, стыдно мне будет перед предками. И перед потомками заодно. Будут же у нас с Томилой потомки когда-нибудь.

В

Потеплей одеться, шапку завязать: "Дрема, не егози, щекотно".
Полетели!

– Залипуху не забудь! – Дрема топает ножкой мне по макушке.
Это он про залипающее заклинание, чтоб с помела не сверзиться.

Помело я на самую высокую скорость заговорила. Муженек мой в безвременье канул, а здесь-то время бежит-торопится. Как там Осьмуша? Страж из него аховый, мало ли... До пещеры Мормагоновой – два дня с помела не слезать. А по земле, по прямой – седмица. Какая прямая? Холмогорье, Дивнолесье да Мор-озеро. В месяц не поспеть. Далеко Томила от Твердиграда столичного угнездился. И от княжего ока, и от Собора, коему подчиняться обязан. Люду в тех краях раз-два и обчелся – мелкие деревушки в лесах. Кабаки придорожные да капища волхвов – вся и власть. Там, поди, и не ведают про стольный град. Шутка! Каждый кабак обязан выписывать "Княжьи ведомости" и всем желающим бесплатно предоставлять. Курьеры разлетаются по миру, в самые дальние зауголья, несут слово княжье и все, что к нему прилагается: советы, чего-как сеять-жать, свежие сплетни, заклички волхвов да гадалок.

Муженек на край мира недаром убрался. Если о его делишках хоть тоненький слухок до Собора дойдет – выйдет ему полный кирдык, несмотря на чин и почитание. Развенчают, лишат права колдовать, схоронят заживо, не выскребешься. Только я знаю, чем он занят. Я жена, второе крыло, третье плечо. Не предам, не выдам. Потому что люблю.

Кто сказал, что некроманта нельзя любить? Может, и нельзя, да сердцу не прикажешь.

Мормагон нас азам некромантии обучал в Академии. Строгий такой, недовольный – крылья носа негодуяще трепещут. У меня все заклинья из головы вылетали со страху.

Повел нас на практику – упырей поднимать. Ночь безлунная. Я отстала, меня мавки запутали, заманили, в реку столкнули. Я и утопла. Плыву себе мертвая лицом вверх по реке, ни

о чем не думаю. Погост на взгорке, река его петлей огибает. Мормагон меня почуял. Сиганул прямо с обрыва в воду, вытащил, откачал.

Девчонки говорили, он меня заклятьем из Нави вызвал, рабыней сделал. Ерунда. Он мне сердце раскачал и в рот надышал, я и очухалась. В первое мгновение вижу – надо мной глаза черные, бездонные, я в них бултых, опять утопла. Потом спазмы, кашель, вода из горла ручьем, слезы брызгами.

Вот так я в некроманта влюбилась, втюрилась по самые печенки.

Это я Дреме рассказываю, у костерка сидючи.

Летели мы долго, день прошел, стемнело. Только я задремывать стала, помело самочинно на посадку пошло. Да не пошло – рвануло. Людям – надежда, богам – смех.

– Тормози! – домовой мне в волосы, как в поводья, вцепился.

Влетели в какой-то столб. Об него и затормозили, в сугроб просыпались. Помело крак – пополам, к починке непригодно. Где ж мы? Подвесила пару шаров-светляков, огляделась – что-то вроде дороги, не хоженной, не езженной, снегом заметенной. На столбе доска, на доске буквы вырезаны: "Перунов скит три версты". Впотымах скит искать не буду, об этом подумаю завтра. Наскоро сложила шалашик из еловых лап, Дрема упросил: "Хоть какой-то дом". Костерок развела. Теперь сижу, домовика разговорами развлекаю, про свою любовь рассказываю.

Когда эта самая любовь у нас с Томилой закрутилась, он мне про свои опыты и рассказал. Я смеялась:

– Что, некромант, смерти боишься?

– Смерти не боюсь, – говорит, – а на слепое Колесо перерождений вставать неохота. Столько знаний накоплено, а вынырнешь в следующем рождении скоморохом или такой дурындой, как ты, – хватает меня, щекотит, целует так, что я вся огнем пылаю.

– Дак с Велесом, с Марой договорись. Ты им жертву, они тебе новую жизнь с накопленными знаниями.

– Договаривался один такой, – ворчит. – Ты про волхва Нажира слыхала?

– Не-а.

– Тоже хотел знания свои сберечь. С Велесом договор заключил: "Пусть все мое со мной в новом рождении пребудет".

– И что? Обманул Велес? Не выполнил договор?

– Чего ж не выполнил. Выполнил. Родился Нажир младенцем-стариком. Вот каким помер, таким и родился, только в четверть пуда весом. Только успел сказать, бороду ощупав: "Дуботолк!" – тут же и помер вдругорядь. И кого обозвал, себя ли, дурака, Велеса-хитреца, кто знает. Так-то они, боги, с нами. Что людям – надежда, богам – смех.

Г

Левая воротина болталась на ветру и поскрипывала, правая намертво вросла в сугроб. Тропинки в воротах не было.

Едва солнце высунуло из облачной перины лучик-пальчик проверить, как оно снаружи, я двинулась. Проложила путеводную нить от себя до Томилиной пещеры, нетоптанный прямик улегся точнехонько на нее, значит, первый привал – Перунов скит. Версты тут оказались растянутые, несмотря на ускорительное заклинание и посох из обломка помела, путь занял полдня. Ну хоть людей найду.

Теперь сомневаюсь.

В ноздри заполз запах дыма и жженных перьев. Ага, кто-то есть! Курицу опаливают?

Прохрумкала валенками мимо изб, пустых, брошенных. Когда-то скит был густонаселен, еще бы, Перун – самый почитаемый бог у селян, от него вся жизнь зависит. Но почему волхвы ушли?

Над самой маленькой избенкой, не больше баньки, вился дымок. А за ней еще столбик дыма, вонючий. Посреди расчищенного круга высился идол, тщательно вырезанный из толстого бревна, бородатый Перун, в глазницах кроваво-красным огнем полыхали лалы. Перед идолом здоровенным медведем раскорячился волхв, возился с жертвенником. Заглянула ему через плечо:

– Ворона?! Перуну?!

Волхв, развернувшись, обратив ко мне мрак под низко надвинутым куколем. Мрак чихнул и сказал:

– Дак ить вона у ево очи-то со вчера пылают. Озлился. Надо ж умиловать... – запнулся и добавил вопросительно, – влять?

– Вить. Умиловать, – поправила я.

И тут же в голове щелкнуло: "Со вчера..." Ясенько. Ну спасибо тебе, перуний слуга, за весточку.

– Селяне, сволота, – бубнило из-под куколя, – не везут ничего, не допросисся. А ты чего тут? С просьбой? Или за гаданием? Дары-то захватила? – и, вздохнув, шепотком, – хлебушка бы...

– Хлебушка я тебе дам.

Он обрадовался:

– Ну пошли в избу, девка. Чё за докука-то у тя?

В избенке, скинув балахон и надетый под него тулуп, волхв оказался длинным нескладным парнем.

– Эка морковина печеная, – захихикал Дрема у меня на голове, – власа рыжие, а рожа и руки – будто плеснули взваром, веснушками утыканы. Такой не Перуну, Яриле служить должен.

Пока я придремывала у ночного костерка, домовый времени не терял. Прожег в шапке две дыры спереди и сзади – окошки, а еще наплел мне кучу мелких косиц да свил гнездо-шалашик на моей макушке. "Мне, – говорит, – без дому нельзя. Теперь ты мой дом. Давай приглашай". Пришлось обряд исполнять в походных условиях. Сунула в волосы монетку да крошку хлеба, поклонилась Дреме, три раза повторила: "Дедушко-доманушко, иди со мной на новое жилье, на бытё, на богатство. Я тебе гостинец припасла, ты меня не ругай, не брани, из дому не гони".

Морковина на мою "прическу" глянул, потом желтый глаз на мое кольцо со смарагдом скосил, сообразил, кто перед ним – сразу тон сменил:

– Госпожа э-э-э, может, сбитня заварить? С холоду – первое дело.

– Меня Купиной зовут, – говорю, – а тебя как?

– Дак ить Тит Ковалев я, перунов страж.

Точно, Тит, то-то мне его плохо пропеченная личность знакомой показалась. Тит Дважды Восемь. Притча о нем вошла в историю Академии волшбы. И было это на моих глазах лет семь назад.

Всем известно: восьмой сын восьмого сына станет волшебником, даже если все его предки были ковалями, как у Тита. Качая рыжее чадо сильной рукой, папаша радовался: "Выйдет в колдуны, всю семью подымет, будем жить-поживать, добра наживать", – и своей науке кузнечной сына не учил. Зачем? Как только стукнуло сынуле пятнадцать, отправил в Твердиград в Академию.

Тит оказался тем самым исключением, что подтверждает правило. Ни малейшей веденейской искры в нем не было – глухое полено, слепой крот, дырка от бублика. Срезался на первом испытании. Но отец счел неудачу происками завистников и попыток пристроить сына в колдуны не оставлял.

Каждый вересень, с началом нового годового круга, в воротах Академии появлялся ослик, на котором, свесив до земли долгие аистинные ноги, сидел Тит Дважды Восемь. Он доказал всех, веденея Преслава, что командовала тогда нашей богадельней, заявила: "Если явится еще раз, приму его без испытаний. За настырность". Но он не явился. Видно, отец, плюнув, выгнал со двора безнадегу-сына. И он всплыл в брошенном перуном скиту.

Д

В избе кругом барахло перуново: стрелы, камни, обереги. В спешке волхвы бежали, все самозваному наследнику оставили. Лет сорок назад тут мор приключился, в свитках – последняя запись. Волхвы первыми смикитили, куда ветер дует, свалили вину на кабатчика да его жену-веденею и драпанули. Вредителей селяне пожгли, как водится, но от черного поветрия все ж перемерли. Не все. Выжившие детей нарожали, но народу мало в округе, и власть столичная про них позабыла. Тит и пытается здесь властью стать. Да не особо пока удается.

А что это на окошке в паутине? Блюдце простенькое. Простенькое, да не очень, через ведьмин прищур глянула – ходок-переместитель. Если технику знать, а я знаю, в блюдце это нырнуть можно, а вынырнуть, где пожелаешь. Ценняк. Выпрошу, Тит не знает, что это, а то б не отдал паукам.

С ходока я ведьмин прищур на Тита перевела. А мыслишки-то у него гадкие: он меня селянам решил сдать. "Перун злится из-за пришедшей ведьмы, опять мор найдет. В железа ее, ребята, в огонь! А мне, перунову слуге верному, – почет в виде копченого окорока".

Тит с ведром к двери:

– Воды бы. А тебе вот – бузинная настоечка для сугрева.

Заботливый, гнида.

– Титушка, глянь-ко.

Он на меня глаза свои желтые поднял и попался. Заплела я сеть сон-дурмана:

– ...сон в камень, камень горяч, под камнем ключ.

Искорки с перстов моих раз парню в лоб. Мешком осел наземь, свернулся, ведро обняв, у приоткрытой двери.

Дрыхни.

Барахло перуново прошерстить. Сгодится. Чую, что меня ждет. Стрелки, плетъ, камни в мешок, а вот блюдце надо отдельно, расколотится. Положила ходока в лучшенезнать, крышкой прикрыла. Что тут еще? Брошка? Не брошка – сварга стеклянная, алая. Мужская штуковина. Но возьму. Туда же ее, в ларец.

Эй, что такое? Поднимаю крышку, а там пусто. Ходока нет. Только что сунула, а он тю-тю. В недоумении перевернула ларчик, по дну постучала. Ходок мне на коленки выпал. Так вот что ты такое, лучшенезнать! Бездонный ларь. Суй туда что угодно, все в щелекучу между мирами ляжет. Быстро все туда побросала, теперь в мешке заплечном лишь лучшенезнать остался. И еще бутылка бузинятины. С собой прихватчу Титово угощение.

Ходока в руки и вперед. Но тут о ведро спящего Тита что-то стукнуло. Зверь странный, голова шаром, по шерсти струйки белые текут. Кот в горшок простокваши башку сунул, а высунуть никак. Из-под горшка бормотанье невнятное.

– Кис-кис, иди помогу.

Надо ж спасти животину. Вытянула. Котяра морду облизнул и отдельно так говорит:

– Мяу. Мя. У.

Дрема топ-топ в темечко:

– Прищур включи. Скотина-то из баюнов. Притворяется.

Точно, кот баюн обыкновенный. Серый, облезлый, тощий.

– Здорóво, братец, – говорю, – и прощай, уходим мы.

Он ушами затряс:

– Я с вами. Задолбало мышей ловить и мяукать. И это, как там... Я тебе еще пригожусь. И улыбается во все зубы, сказочник блохастый.

– Ну давай, прыгай на спину.

И затагнуло нас блюдце, завертело. Потек свет, завихрился цветом, что и не видал в мире никто, зазвенел, затрепетал. И погас. Выплюнуло нас блюдце.

Опять вокруг лес, снег, сумрак вечерний. Дно оврага. И пещера Мормагона передо мной. Никогда я тут не бывала. Сюда муж меня не допускал. Это только его игрушка.

– Осьмуша! Это я, Купина, – кричу, – открывай!

Мужнин слуга хоть не колдун, но ставить-снимать запирающие заклинание обучен.

Темно в пещере, выпускаю световой шар, он плывет впереди, призрачные зеленые блики вязнут в черном камне стен. Тень навстречу. Осьмуша. Трясется весь:

– Долго ты... Он там заперся... Не войти... Я тут... Страшно.

– Уходи. Спасибо, что дождался.

Он зайцем из пещеры. Дробный конский топот – ускакал.

Теперь я одна. Ну в смысле, с котом и домовым. Но все равно одна.

Касаюсь рукой стены, она шершавая и теплая. Будто не камень это – шкура зверя. Вепря? Змея? Все горячее под ладонью. И мелкая дрожь-лихорадка. Запечатана дверь, не войти, не снять заклятий. Да и незачем. Томили там нет. Разве что тело его. Пустое. Без души.

А душа где? Глянуть бы.

Кот о ногу трется.

– Чего тебе?

– Я провожу. Уснешь и найдешь. Настойки хлебни, глазки закрой, песенку послушай.

А что? Может, сработает.

Пару глотков из горлышка – в голову шибануло. Лечь на пол, сварга на груди, стрелы за спиной, в руки камень перунов да плетъ, глаза закрыть. Пой, котик, провожай меня к мужу.

Е

Ходит луна по небу
Тропкою нехожалою
Бродит кручина по миру
Спи дитятко малое

Цветики смяты во поле
Залиты кровью алою
Под окнами Лихо топает
Спи дитятко малое

Беды всегда быстроногие
Счастье порой запоздалое
Утро увидят немногие
Спи дитятко малое

Течет колыбельная, плыву лодочкой. "...Спи, дитятко..." Не спи!

Вскочила. Я по-прежнему в пещере. Дрожат, зудят стены. Сплю или нет? Сейчас взломаю дверь запечатанную и узнаю. Если явь, то за дверью найду два тела пустых, бездушных: одно

– Тамилино, второе – отрока какого-нибудь. Не стал муженек ждать милости от богов, решил сам смерть обмануть – выпрыгнуть из своего тела да в новое запрыгнуть, прихватив все, что за жизнь скопил: память, знания и, надеюсь, любовь нашу. Выскочить сумел, а дорогу к новому дому не нашел, заблудился. А если не явь, то там – что угодно.

– Как гром бие и разбие, так и перунов камень в моей руце разбивае, – кричу и каменной по двери.

Вспыхнули, осыпались пеплом створки, дунул в лицо ветер, пропитанный звонким запахом снега.

Снег, лес, сумрак. Кряжистый дуб посреди поляны, впятером не обхватишь. Вепрь задом дуб подпирает, роет копытами, от боков, черной щетиной заросших, пар, с кровавых клыков пена хлопьями. На него свора псов нападает, рыжих крупных, волки – не псы. Молча кидаются, виснут на боках. Вепрь их клыками раскидывает, копытами давит. Разлетаются псы, кровью снег заливая. Умирают молча. Вижу через ведьмин прищур, не вепрь это, Томила, и не псы – Тит Дважды Восемь, один в ста лицах, вернее, мордах.

Как так? Он же дрыхнет в дальнем далеке. Я его усыпила, а Перун призвал. "У ево очито со вчера пылают", – Титовы слова. С того и пылали, что в перуновы пределы чужой вторгся, я тогда сразу смекнула, куда мужа вынесло. Потому и барахлишко, от волхвов оставшееся, подтибрила. Воевать с богом, так божьим же оружием.

Пляска смерти под дубом. Солнце над вершиной. Должны плясать на снегу длинные тени. А нет их. Не люди мы здесь – голые сущности без телесной шелухи. Томила диким вепрем, Тит сворой собачьей, а я – кем я в безмирье выскочила?

Воином.

Новое дело! Была веденя, хитрая, как ласка-зверок, текучая. А нынче я богатырь. Широки плечи, крепки руки, надежны ноги – не своротишь. Кольчуга грудь прикрывает, за спиной лук да колчан со стрелами, в шуйце щит круглый, алой сваргой сверкает. Не оберег ли этот мужской воином меня сделал?

Десница плетъ перунову сжимает. Обернулась плеточка бичом длинным, из воловьих жил крученным, в хлыст острые стрелки вплетены, ударишь – пополам развалишь.

– Держись, Томила, я иду!

Глас у меня зычный, порывом бури по поляне несется, ветки мелкие с дуба сшибает.

Прыгают на меня псы, желтыми глазами сверкают, клыками в ладонь длиною щелкают. Да куда им супротив меня. Скользят клыки по доспехам, хлопает бич, рассекает тела собачьи, валит останки в кучи, одну вправо, другую влево. Последних вепрь затоптал. Рассеялись псы перуновы. Истаяли. Пусто на снегу. Чисто, ни крови, ни клочка рыжей шерсти.

– Томила, – кличу, – уходим!

Да не тут-то было...

С верхушки дуба рухнул прямо вепрю на спину орел. Огромный, перья золотыми сполохами. Оком на меня косит желтым, Титовым. Упал вепрь, подернулся речной рябью, потек водой талой. И прянул в небо сокол. Грудь в грудь с орлом сшибся, чиркнул крылами по глазам. Клекот орлиный, визг соколиный – уши заложило. Бьются птицы – ветер завихрился, с ног валит, снег подымает, взор застит. Или птичьи перья снегом с неба сыплются?

Лук из-за спины хватъ, калену стрелу на тетиву. Никогда я лук в миру не держала, а тут руки сами знают, что да как делать.

Новая я, другая. Другой.

Кружат птицы, сплетаются. Не сбить бы сокола вместо орла. Первая стрела мимо – в солнце улетела, вторая мимо – в дуб воткнулась. Последняя в ладонь легла. Не промажу!

Прямо в желтый глаз стрела угодила. В один угодила, из другого вышла. Вскричал орел, заматался, ослепший. Сшиб его сокол наземь, упал сверху, рвать-клевать стал.

Чего время теряет? Бежать надо, в мир возвращаться!

– Томила, скорее!

Шипит на меня, крыльями хлопает, не подпускает. Пока не истерзал орла, не успокоился. Исчез орел, ни пера на чистом снегу не осталось. Ну все, сматываемся.

Не успели. Задрожала земля, ходуном заходила – дуб корни выпростал, побежал пауком к соколу, на ходу превращаясь во всадника. Конь под ним игреневый, в деснице – топор боевой, доспех сверкает, взор из-под шлема огнем пылает.

Перун!

S

Сокол крыла раскинул. Перья кинжалами острыми. Тело вытянулось. Вместо клюва – пасть зубастая. Птицезмей жалом водит, оком багровым косит. Налетел на всадника. Ударил грудью. Зашатался конь. Всадник поводья натянул, поднял коня на дыбы. Ржет конь, слышится Титово: "Дак и-и-ить!" Рубанул Перун топором. Соскользнуло лезвие, крепка чешуя змеева. Ухмыльнулся змей, ударил хвостом – вышиб всадника из седла. Покатился Перун по земле, вскочил, топор поднял.

Что ж я столбом стою, на помощь не спешу? Так нет у меня оружия. Кнут исчез, стрелы кончились. Только щит-сварга в руке. Да и кому помогать? Змею-Мормагону? Богоборцу чешуйнопёрому? А если он победит? Разрушит мировой лад. Боги не простят, обрушат гнев на род людской. Нет! Не встану я на сторону мужа. Прости, Томила.

Пока я маюсь, бойцы в ком слиплись – руки, крылья, топор, когти – не разнять.

Развалился ком. Перун на снегу истоптанном, кровью багряной залитом. На коленях стоит, шатается. В руке топор дрожит – древко треснуто, лезвие зазубрено. Взлетел Мормагон. Тяжелы взмахи крыл. Отделал его Перун, повыдергал перья, посек чешую. А все ж змеева позиция выгодней. Рухнет с неба на врага, добьет.

И рухнет Мир в тартарары.

Прости, Томила!

Поднимаю щит, трубным гласом ору древнее заклятье:

– Полею иде Нтиф и Кац, и я. Камень виде Нтиф и Кац, и я. Нтиф влево, Кац вправо, я прямо. Сила со мной!

Бросок! Со свистом летит сварга. Врезается в горло змею. Как нож в масло. Башка наземь кувырк. И туша туда же. Из обрубка шеи дым пестроцветный. В сваргу, в небе зависшую, втягивается. Темнеет алая сварга до вишневой густоты, до багрового мрака. Весь дым, всю Мормагонову живу впитала и в руки мои вернулась, зудящая, горячая.

Перун поднялся. Стоит раскорякой, ноги подгибаются. Но во взоре, ясно дело: "Моя победа!" Горазды боги чужими руками жар загребать. Поднял топор и швырнул в мою сторону. Свидетеля убрать?

Замер богатырь, щит-сварга в руках перед грудью. Летит в него перунов топор – щитом не прикроешься. Упал топор прямо богатырю под ноги, в твердь воткнулся. Раскололась твердь. Ухнул в разлом богатырь.

Я ухнула.

Вот она заветная потайка Томилина, куда мне ходу не было. А теперь, пожалте. Я в теле своем женском, кот у ног отирается, Дрема, на голове возится, сварга, стекляшка малая, кулак жжет. Знать, проснулась, в яви нахожусь. Скарба колдовского тут видимо-невидимо, в середке на столе широком два тела голых, бездушных, одно – Томилино, второе – отроковицы. Девочка, лет десять от силы. Худенькая, ключицы торчат, косица русая под плечо подоткнута. Ай да Мормагон! В девчонку пересесть задумал. Вот уж где его искать не будут. Детей никто не учитывает: ни князь, ни Собор, ни боги.

А я? Как же я, муж мой милый? Как же любовь наша?

Видать, никак. Была, да вся вышла. А жена? А что жена? Есть более заманчивые вещи.

Сварга сейчас дыру в ладони прожжет. Наружу просится. Разжала кулак. Завилась ниточка пестренькая, Томиле в лоб вошла. Зашевелился. Руки поднял, посмотрел на них. Сел, ноги со стола свесил. На меня уставился. А потом как вскочит, как вlepит мне кулаком. Меня на стену кинуло. Так треснулась, дух вон. Сползла на пол, воздух рыбой глотаю, встать не могу.

Мормагон на меня наступает. Голый, огромный, страшный. Такой злобой пышет, кожей чувствую. Сейчас прикончит меня.

– Дура! Зачем влезла?! Я бы победил! Богом бы стал! А ты меня обратно?! Дрянь!

Здорово ему в безмирье башку оттоптало, в боги подался. Ясно дело, на кой ляд возня с телами, если свезло прям к богам на двор выпасть да свои порядки там завести. А тут я под ноги кинулась, фарт перебила.

Вопль уши резанул:

– Йя-а-а-у-у-у! – кот взлетел и когтями Мормагону в морду.

Да что кот против колдуна озверелого. Смахнул:

– Умри! – молния с перстов, и нет баюна, шкурка обгорелая на пол пала.

Тут в Мормагона барахло полетело: чаши, перстни, тулуп да валенок. Дрема шмотки мои из щелекучи вытащил, во врага швырнул – меня, дом свой защищает, как положено домовому. Последним полетел лучшенезнать, угодил в висок Мормагону, пустил струйку крови.

Еще одна молния – Дрема с головы моей скатился прямо под ноги Мормагону. Опустилась стопа – и нет больше домовика, только искорки разлетелись.

Дремушка, как же это? Семьсот лет в нашем доме, меня малую нянчил, в прятки играл, кренделек-пряничек подсовывал. Осиротил ты меня, Мормагон.

Не прощу!

Растет сила моя, крепнет глас. Звучит заклятье:

– По полю иде...

3

Видно, не то что-то булькнула, Нтиф с Кацем, лапти попутав, не своими путями двинулись. Да и не удивительно – тарабаню заклинье, а перед глазами комната моя, Дрема клубочком из-под кровати: "Возьми с собой, мир посмотреть хочу..." Вот и посмотрел ты, Дремушка, всласть насмотрелся.

Застыл Мормагон, заклинанием спутанный. Руки ко мне тянутся, морда злобой перекошена, глаза огнем горят – идол, чудище навье. Над темечком ниточка пестрая вьется, жива наружу прет. Только вдруг замахрился кончик у нити, стала она делиться. Часть к сварге стеклянной тянется, а тоненькие волоконца желтенькие, как лучики зимнего солнца, вокруг Мормагона кружат, свиваются, в тело впиваются.

Договорила – руки его плетями упали, лицо разгладилось, взор потух. Не человек – болван глиняный. Голем – вместо глаз дырки, за ними пустота. Ходить может, приказы исполнять, а мыслить – нет. Нечем. Дух в сваргу запечатался.

Так тому и быть.

Куда ж ее, сваргу, спрятать? Куда закинуть, чтоб не выловил никто? Взяла я лучшенезнать да туда и сунула. Провались в щелекучу между мирами на веки вечные!

– Аз есмь древний из дней, аз есмь сильный из богов, солнце и луна, вода и железо послушны мне... – мну перстами железный ларчик, как мягкую глину, в ком сминая, наизнанку выворачиваю.

Вывернулся лучшенезнать и пропал из ладоней моих, сгинул в неведомой межмирной щели. Это ли имела в виду Некраса, предка моя, когда велела хранить неведомо на что годный ларчик? Боги ведают.

Зазмеились по каменной стене пещеры зигзаги молний, прорезали полумрак. Раскрылись Врата перехода. Шагнула оттуда в некромантову потайку Преслава, Высшая, глава Веденейского Собора. За ней толпилась княжая дружина. Донес все-таки Осьмуша, отмежевался от господина и учителя своего, предатель: "Я не я, и хата не моя". Сволочь законопослушная.

У Преславы лицо строгое, замкнутое, у ратников княжых – растерянные. Жмутся за спиной веденеи, взглядами любопытными по колдовским причиндалам шоркают, дыры протирают. Никогда такого не видали.

Что же досталось властям мирским? Голый мужчина с пустыми глазами голема, девчонье тельце на столе да скорченная в углу женщина с мертвым котом на коленях. Сидит, опаленную шкурку гладит.

Повела Преслава рукой:

– Уберите.

Один дружинник завернул в занавесь девочку, унес. Другой накинул свой плащ Мормогону на плечи, взял за руку, повел, как послушного ребенка. И тот, и другой во Вратах исчезли, в Твердиград вернулись.

Высшая ко мне обернулась:

– За отступление от Соборного Уложения...

Гремит голос потоком по каменным порогам, топит меня с головою, холодом вливается мне в уши.

Я отступница!

– За преступление Закона...

Стихает голос, течет рекою, тянет меня в омут глубокий, гложут мои уши.

Я преступница!

– За вину в запретной волшбе...

Иссякает голос малым ручейком, в песок впитывается, пробками слов забиты уши.

Я виновница!

– Веденея Купина Томила, ты приговорена...

Не слышу. Нет меня. Схлопнулась явь.

Тишь, темень, покой.

Галина Евдокимова

Псы Гекаты

Сирийская пустыня, 4 век н. э.

Над бесплодной землёй, лишённой красоты песчаных дюн и радующей глаз зелени оазисов, дул сухой знойный ветер. Поднимая клубы пыли, он гнал над пустыней жёсткие шары иерихонской розы. Подлетев к горе Касьюн, ветер ударился о плоский камень, лежащий у входа в пещеру, и затих.

Прислонившись спиной к углублению в скале, Апрем смотрел на бесконечную, выжженную солнцем коричневую равнину. Как любил он это первозданное безмолвие, когда каждый звук слышен издали и кажется таким отчётливым! Именно в такие минуты рождались его лучшие насибы, за которые ещё в юности получил он прозвище "Дамасский жаворонок":

*Увы, я не обрёл земного рая.
Любви не знал, но от любви я умираю...*

Когда Апрем жил ещё в миру, мечтал он написать великую поэму, найти слова, способные перевернуть душу. Но по молодости бывал слишком скор на дурное слово, порой бесчеловечен и жесток. Подобно кораблю без руля и ветрил оказаться бы ему на дне океана жизни, если бы не святой пустынный Афрат. И Апрем принял обет "Сынов Завета".

Так было с ним.

Щурясь от безжалостного света, Апрем взглянул на сияющий шар, повисший на бледном, словно вылинявшем небосводе. Шар медленно падал на него. Апрем подавил безотчётный ужас, глубокий, как инстинкт, и ему захотелось провалиться сквозь эту жёсткую горячую землю – таким жалким и беспомощным он себе показался.

Но долг "Сынов Завета" сильнее страха, сильнее того, что притаилось там, глубоко в пещере. Не успел Апрем подумать об этом, как чужая воля – непреклонная, враждебная – хлестнула по пустыне, пронизывая каждую выемку в камне, каждое затенённое углубление, переполняя душу тревогой, нагнетая страх.

Движением воздуха, пахнувшего из недр Касьюн-горы, принесло протяжный вздох и зловонное дыхание. И тогда Апрем завалил камнем узкий вход в пещеру и засыпал песком все щели.

Медлить нельзя, надо отправляться в путь.

Напутствуя его, отец Афрат торопил:

– Поспеши, сын мой, зло уже обрело плоть.

И, протянув остро заточенный каруд с широкой костяной рукояткой, предупредил:

– Она носит цветные одежды и золотые браслеты, сурьмит брови и красит лицо. Но узнаешь ты её по особому знаку.

Двигаясь к цели, Апрем неустанно молился о том, чтобы Господь укрепил его дух, и, когда показались на горизонте первые дома, он вознёс благодарственную молитву.

В Низиббине было безлюдно и тихо, ни одна собака не залаяла, когда он шёл по улице. Но так было не всегда. Город не раз знал нашествие врагов, он и сейчас под властью язычников-персов, свято хранящих веру своих отцов.

Дом, который искал Апрем, стоял на окраине. Это была ветхая мазанка, окружённая глинобитным забором. Апрем вошёл через тесную калитку в небольшой сад, сплошь усеянный финиками.

Когда он перешагнул порог дома, то почти ничего не увидел, в маленькое окошко почти не проникал свет, только почуял острый запах золы. Присмотрелся. Комната почти пустая – пыльная циновка на земляном полу, белёные стены, узкая полоса сосновой скамьи. У скамьи женщина в цветной одежде. Она стояла к нему спиной, вдоль которой свисали две тугие косы.

Услыхав шаги, женщина обернулась. Чёрные глаза забежали, словно искали кого-то, пока не остановились на Апреме.

Она шагнула навстречу. Лицо, не прикрытое изаром, жёсткое, бледное, словно выжженное солнцем, а взгляд огненный, от него у Апрема вспыхнули щёки и уши.

– Почему ты так беззастенчиво смотришь на меня, женщина? – смутился он. – Не должна ли ты опустить глаза в землю, когда стоишь перед мужчиной?

Она ответила сквозь зубы:

– Вот ты и смотри в землю, ведь мужчина из земли сделан. А женщина взята из его ребра. Мне на мужчину и положено смотреть. Так ведь в твоих книгах написано?

Она засмеялась и, сложив косы на груди, стала распускать волосы.

И вдруг луч света упал на её шею. Апрем вздрогнул, словно ужаленный в самое сердце. Слева, под волосами, чёрная отметина, похожая на сплетение трёх змей. Вот он, знак! Строфалос.

Женщина нахмурилась.

– Поклоняешься ли ты каким-нибудь идолам? – надменно спросила она.

Он не ответил, глядя на неё из-под края куфии – на смуглом лице женщины сияли глаза торжествующей Иштар. Апрем поразились невероятной смеси невинности и порока.

Но разве может быть одновременно свет и тьма? Разве могут быть уравнены Авель и убийца его Каин?

– Тогда зачем ты явился ко мне? – продолжала она, буравя его глазами.

Апрем отвернулся от этих пылающих провалов. Вниз, вниз, вниз – казалось, они зовут его во тьму.

– Господи! Укрепи руку мою! – крикнул Апрем, выхватывая из-под аббаса кинжал Завета.

Но было уже поздно. Сухие узкие губы, похожие на трещину в камне, прошептали:

– Нэг хоер гурав зургаа долооо...

Предместье Петербурга, 1889 год

– Не велели барыня никого пускать! – бормотал лакей, неловко пятясь к плотно закрытой двери.

– Дай пройти, – велел поздний визитёр. – Слышишь!

В комнату гость ворвался со словами:

– Госпожа Липницкая! Простите великодушно! С великим трудом извозчика нашёл в Лисий Нос!

В полутёмной комнате вокруг большого стола сидели несколько человек, но он видел только её одну, расположившуюся в высоком кресле напротив дверей. Пламя пятисвечного канделябра освещало оливковую кожу, блестящие продолговатые глаза под широкими тёмными бровями, шоколадные кудри.

О, сколько мадригалов и элегий посвятил он этой дикой африканской красоте! Бессонными ночами он как одержимый записывал первобытные ямбы каких-то варварских псалмов, но она требовала от него совсем другие рифмы. Муза лирической поэзии, неоднократно изгнанная им, вскоре и вовсе забыла дорогу в его одинокую комнату на четвёртом этаже доходного дома на Фонтанке, окончательно уступив место другой, тёмной музе.

Мучительно долго смотрела на него Липницкая. Наконец, она изрекла:

– Вы едва не испортили нам сеанс, господин Викентьев. А ведь вы, кажется, более всех желали присутствовать при материализации.

Усмехнувшись, она величественным жестом указала ему на стул подле себя.

– Итак, господа, – сказала Липницкая. – Видите ли вы картину, что висит на стене позади меня?

Присутствующие молча закивали головами.

– Прошу вас всецело сосредоточиться на том, что на ней изображено.

Викентьев с трудом оторвал взгляд от хозяйки и перевёл его на картину, но тут же понял, что ничего не видит, кроме золочёной рамы. Однако расспрашивать было некогда, потому что Липницкая уже положила руки на стол и произнесла:

– Приди, о, светозарный дух!

Она обращалась к духу много раз подряд без перерыва, пока вдруг стол не пришёл в колебание.

– Кто ты? – медленно произнесла Липницкая. – Назовись!

В ответ голос, похожий на клотание мокроты в трахее, произнёс:

– Я Ангалили, жрица Эрешкигаль...

Откуда-то подул сырой ветер, и Викентьеву показалось, что он оказался посреди тропических болот. Он вглядывался во мглу, пока из тёмного пятна, обрамлённого золотом рамы, не выделилась фигура, огромная и плоская, как рептилия. Было слышно, как шуршит прибрежный камыш, чавкает ил и бурлит вода вокруг большого тела.

Викентьев вскочил со стула. Он отчётливо понимал, что находится в той же комнате, куда вошёл три четверти часа назад, но его собственные глаза – Господь всемогущий! – глаза видели совсем другое: из болота поднималась какая-то кряжистая туша.

Существо неторопливо приближалось, но в темноте Викентьев смог разглядеть только сгорбленную спину и узкие плечи.

"Это человек, – убеждал он себя. – Господи, ну, не может же здесь, в доме камергера его императорского величества, оказаться... Разумеется, человек, но с явными анатомическими аномалиями".

Как врач, Викентьев знал, что наличие подобных признаков говорило о нечеловеческом объёме костей и мышц в задней части тела.

Уронив стул, Викентьев попятился.

Голова существа ритмично раскачивалась между сгорбленных плеч, как голова змеи перед броском.

Что-то, какая-то конечность – лапа, щупальце? – присмотревшись, он явственно различил пять пальцев с жуткими длинными когтями – отделилась от туловища.

Пламя свечей вдруг вспыхнуло ярко-ярко.

Обдав Викентьева запахом гнили, клацнула зубастая пасть, и раздались странные звуки, отдалённо напоминающие человеческую речь:

– Нэг-хоер-гурав... зургаа-долоо...

Санкт-Петербург, 2019 год

Ночью над Лисьим Носом взошло солнце.

Огромный, серебристо-белый светящийся шар медленно падал на Ромэро.

– Нэг-хоер-гурав-доров-тав-зурга-доло, – чётко проговаривая каждую букву, произнёс он, наблюдая, как отсветы странного ночного светила разбрасывают по небу мятущиеся пятна.

– Йоу! – пьяно отозвался из глубины комнаты Сэйджи. – Рулёзно, бро! Крутой рэп!

– Это фонетическая каббала, идиот, – бесстрастно ответил Ромэро.

Смутное желание идти на свет, прочь от этой тоскливой пустоты заставило его открыть обе створки окна и сесть на подоконник, свесив ноги наружу.

На мир за пределами огромной сияющей сферы бесшумно наползала чёрная, угрюмая тьма...

Проснулся Сэйджи от странных клацающих звуков.

– Капец, как пить охота! – хриплым спросонья голосом пробормотал он.

Тошнило даже от мысли о смене позы.

– Где мы? Слышь, Ромэро?

В ответ где-то завывала собака.

Сэйджи с трудом повернул голову.

– Э! Хорош прикалывать. Ромэро!

1.

Герман чувствовал, что сегодня всё пойдёт не по плану. С самого утра ему не хотелось входить во чрево приземистого здания райотдела МВД, смотреть на серые стены, щуриться на тревожный свет люминесцентных ламп. Уныло шевелилось в груди нехорошее предчувствие. Вечером он собирался съездить к родителям, забрать дочку и провести с ней вдвоём ближайший уикенд. Заказать пиццу, посмотреть "Войну миров". Дочка обожала этот фильм, и именно с него обычно начинались осенние каникулы, когда бывшая жена привозила дочь к нему.

– Держи, Сороковых! – дежурный протянул ему папку. – Парень – третьекурсник РГИСИ. После пьянки в старом особняке, что в Лисьем Носу. Ну, этот, как его... Дом с химерами!

– Опять старый особняк, – вздохнул Герман. – Тот, что на пустыре?

– Ага, – кивнул дежурный. – В девяностом, помню, сатанисты там собирались, было дело. Один в дурку угодил, другого собаки насмерть загрызли бродячие, остальные разбежались. В общем, давай, капитан, разберись.

"Выходных не будет", – подумал Сороковых, открывая папку с розыскной ориентировкой.

С фотографии на него смотрел парнишка лет двадцати. Задиристый взгляд, на шее странная татуировка в виде трёх сплетённых змей. Рэпер по прозвищу Ромэро.

Сороковых уселся перед компьютером и поискал пропавшего в служебной базе. Парня не было ни среди живых, ни среди мёртвых. Герман взял данные свидетелей и вышел на улицу.

Как же недружелюбно, даже зловеще выглядело всё вокруг в это пасмурное ноябрьское утро!

Водитель Акишев, скрестив руки на груди, молча созерцал капот "УАЗа Патриот". В уголке рта вспыхивал огонёк сигареты. Сороковых до чёртиков захотелось курить.

– Поехали, – хмуро сказал он Акишеву.

– Есть, товарищ капитан.

Съехав с моста Белинского, "УАЗ" свернул налево и покатил по Моховой. Возле учебного театра РГИСИ Акишев заехал в арку и припарковался возле стены, сверху донизу расписанной граффити.

На входе в театр Сороковых встретили две ухмыляющиеся физиономии скульптурных сатиров и заспанное лицо охранника.

– Оперуполномоченный Приморского ОВД капитан Сороковых, – представился Герман. – Вызовите-ка мне...

Он назвал фамилию.

Щуря мутные от недосыпа глаза, охранник потыкал пальцем по кнопкам коммутатора.

Парень, что видел пропавшего последним, выглядел озадаченным.

– Ты Сэйджи? – спросил Герман для разгона, переводя взгляд на серьгу в ухе. – С какой целью вы с Ромэро поехали в заброшенный особняк в ночь на шестнадцатое ноября?

– Thematic party, – буркнул парень, накидывая на голову капюшон. – Типа, "Боги древнего мира".

– Кто ещё присутствовал? Узнать кого-нибудь сможешь?

– Какой там! Народу было человек двадцать. Все в прикидах, в масках.

– А кто организатор?

– Группа ВКонтакте, "Тривия Перепутья" называется. Там деваха одна, ну, админ группы вроде. В общем, она всех собрала.

– Запомнил её?

– А то! – отозвался Сэйджи. – Красивая. Крутая. Как София Бутелла в "Мумии".

Когда Сороковых открыл дверь "УАЗа", Акишев сидел, положив руки на руль.

– Давай в отдел, – велел он водителю, пропуская вперёд Сэйджи. – Словесный портрет надо составить.

Вернувшись в отделение, Герман довольно сидел у компьютера, изучая каждое слово: почта Ромэро, аккаунты в соцсетях, просмотрел контент группы "Тривия Перепутья".

У каждого сообщества какая-то цель. Согласно вводной статье, целью "Тривии" была популяризация эзотерических и оккультных знаний. Всё в русле программы, грамотно пропущено через фильтр, чётко отсекающий сомнительное, без лишних слов и непотребных тем, но балансируя на краю дозволенного. Информации о мероприятии в Доме с химерами никакой. Фотографии удалены, на связь админы не вышли.

– А вот теперь, пожалуй, в Лисий Нос, – сказал Сороковых.

Ехали медленно. В тусклом пасмурном свете проспект кое-где поблёскивал огнями фонарей и окон. На Богатырском в это время полно народу, но чем дальше от центра они удалялись, тем людей становилось меньше.

Жизнь городских окраин... Облупившиеся фасады многоэтажек, неработающие лифты, своеобразный язык, хмурые физиономии нетрезвых граждан, изысняющихся на каком-то межгалактическом наречии... Депрессивно. Но главного это не меняет. От центра до окраин одно и то же: ложь, предательство, измена. Жизнь. Смерть.

Сороковых листал материалы ориентировки. Под фотографией Ромэро лежал мятый листок с каким-то безумным текстом, не очень внятным, но рифмованным. На месте заголовка три буквы: Л.Г.Н.

*слушай, брат,
брось пустые дебаты.
просто это напрасные энергозатраты.
я в аду.
ад – не огонь, а зловонная лужа.
я никого здесь не знаю, и никто мне не нужен.
это просто жить, не могу смотреть без дрожи.
я один, мне никто не поможет.
здесь нет людей, одни собаки,
но не хаски, блауханды, хововарты.
мы в ином измерении, в ином стандарте.
мы адские псы. мы псы Гекаты.*

Вспомнились слова Сэйджи:

– Ромэро мечтал написать текст, который сможет вывернуть душу наизнанку...

Герман разозлился и захлопнул папку. Читали бы свой рэп по клубам, в тепле, в сухости! Нет, всё приключений ищут, обязательно надо было на заброшку тащиться.

"УАЗ" подъехал к повороту в сторону Дома с химерами. Дорога здесь обрывалась. Впереди пустырь. Ни фонарей, ни асфальта.

– Дальше я пешком, осмотрюсь, – сказал Сороковых водителю. – Заедешь за мной примерно через час.

– Если что, я на связи, – кивнул Акишев.

Машина тронулась с места и вскоре исчезла за поворотом.

Стоя на тротуаре с противоположной стороны дороги, Герман изучал здание.

Ох, не нравилось оно ему! Старый неосвещённый трёхэтажный дом, кажущийся небрежно вырезанным из чёрной бумаги и наклеенным прямо на серое небо. Угловатое строение с облицованными камнем стенами и высоченной оградой напоминало крепость века что-нибудь семнадцатого-восемнадцатого. По сути, оно и было крепостью – кирпично-бетонным бастионом питерской окраины. Здесь легко спрятаться и отсидеться под надежной охраной крепких чугунных ворот. Может, Ромэро так и сделал?

Герман задержался у тяжёлых ворот, рассматривая витиеватые гербы, заключённые в круглые медальоны. "Химеры", – неприязненно подумал он, сквозь причудливый узор чугунины глядя на пространство двора.

Ноябрь в этом году выдался тёплый, но остывшая земля казалась колючей, и Герман энергично зашагал по дорожке, выложенной потрескавшейся плиткой.

На входной двери висел большой навесной замок, что называется, "амбарный", но незапертый, а просунутый дужкой в петлю. Вокруг не было, в принципе, ничего примечательного, одно слово – заброшка, но что-то иррациональное заставило Германа вглядываться в окружающее внимательнее.

Он снял замок и толкнул дверь.

Дом был весь какой-то сквозной, снаружи вроде крепкие стены, а внутри пустота. В центре деревянная лестница, в целом неплохо сохранившаяся, только кое-где не хватало ступеней.

Герман запрокинул голову. Вокруг лестницы, как в амфитеатре, поднимались этажи. Ветер шелестел обрывками обоев и шевелил лоскуты кое-где сохранившихся занавесок.

Вдруг краем глаза Герман заметил движение, кто-то бесшумно скользнул в парадное. Он быстро оглянулся – женщина, одетая во что-то тёмное, метнулась и исчезла, только стук каблучков какое-то время звучал, но вскоре и он стих.

– Полиция! – громко сказал Герман, делая шаг вперёд. – Выйти и предъявить документы!

Никакого ответа. Одновременно за поясом затрещала рация, откуда донёсся надтреснутый голос, похожий на механическое эхо, слов было не разобрать.

– Х-хо... з-зурга-а-а... доло-о...

По спине пробежал озноб. Герман расстегнул кобуру. Откуда-то сверху послышался стук каблучков. Герман быстро пошёл к лестнице, хрустя битым стеклом и щебёнкой.

Нижние пролёты были освещены хорошо, но верхние терялись в полутьме. Герман осторожно поднимался. От каждого шага лестница вибрировала. Он прошёл уже три марша, когда послышался лай собаки. В пустом доме гулкое эхо гуляло по всему зданию, но Герман понял, что он доносится с первого этажа.

Сбежав вниз, он сразу заметил цепочку следов, ведущих в западное крыло. Собачьи, крупные, посреди холла они вдруг обрывались.

Герман сделал несколько фотографий и отослал экспертам. Застегнув куртку, вышел на улицу.

Над пустырём медленно растекались мрачные ноябрьские сумерки.

Акишев вёл машину молча, не сводя глаз с дороги.

Герман достал телефон. Несколько пропущенных вызовов: от дочки, от родителей и от бывшей. Бывшая звонила редко. Зачем? Обругать, унижить, припугнуть, что не привезёт дочь? Но он знал, ничто не могло заставить её делать то, чего она не хотела.

Два месяца назад дочке исполнилось восемь. Они с бывшей устроили для неё праздник. Вечером, укладывая дочку спать, Герман заметил, как она становится похожа на мать, также подкладывает ладонь под щёку.

"А глаза-то мои, светло-карие", – с удовольствием подумал он и улыбнулся её словам.

– Папа, у тебя глаза как лесные орешки!

Перезванивать бывшей Герман не стал, к чёрту! Но всё же следует поторопиться.

Потом позвонили из экспертного отдела. Следы, обнаруженные в особняке, действительно принадлежали собаке крупной породы, предположительно, одной из древнейших групп – молоссов, – возможно, канне-корсо.

Дежурный сказал, что в Доме с химерами уже было что-то, связанное с собаками. В базе значилось, что в тысяча девятьсот девяностом году дело было прекращено из-за отсутствия картины преступления, зафиксировано нападение бродячих собак на человека, гибель которого сочли несчастным случаем.

Пустырь, заброшка, собаки.

Возможно, связь есть. И есть свидетель. Илья Михайлович Фингель, тысяча девятьсот шестьдесят третьего года рождения, в девяносто первом признан невменяемым и помещён в психиатрическую больницу. Выписан. В настоящее время работает в отделе редкой книги Российской национальной библиотеки.

2.

По паспорту этому человеку было пятьдесят шесть, но выглядел он древним стариком.

Герман рассматривал Фингеля. Смуглое морщинистое лицо, тёмные глаза, седина, лоб с глубокой продольной морщиной. Ему бы сидеть возле пылающего камина с трубкой в зубах и пледом на коленях!

Герман представился, показал удостоверение.

– Илья Михайлович, я хотел бы поговорить с вами о событиях тридцатилетней давности, произошедших в Доме с химерами, в Лисьем Носу.

Фингель медленно поднял руку, поправил очки на переносице.

– Это должно было повториться, – обречённо произнёс он. – Идёмте.

Они прошли под готическими сводами кабинета Фауста, мимо бронзового Гутенберга. Среди морёного дуба и бронзовых инкрустаций, Герман представил себе Фингеля средневековым монахом, корпящим в келье над манускриптом, но старик привёл его к двери с табличкой "Зав. отделом редкой книги", за которой была комната с двумя стрельчатыми окнами, украшенными розетками и трилистниками из цветного стекла.

Взгляд Германа задержался на небольшой картине, изображавшей какую-то мрачную сцену: тёмный лес, серый силуэт на фоне лунных сполохов. Герман прочитал: "Погружение в Бездну. 1889 год".

Заметив его интерес, Фингель пояснил:

– Здесь изображена сцена посвящения.

Герман хотел спросить, посвящение во что, но Фингель уже достал из шкафа тяжёлый том в тёмно-красном кожаном переплёте и положил на стол. Он благоговейно полистал сухие страницы, слегка хрустевшие при переворачивании. На одной, заполненной какими-то астро-логическими символами, пальцы Фингеля задержались.

– Гримуар, – прошептал он.

– Илья Михайлович, – мягко сказал Герман. – Меня, собственно, интересует круг людей, которые собирались в том заброшенном особняке в тысяча девятьсот девяностом году.

– Да, девяностые, – осторожно отложив книгу, задумчиво начал Фингель. – Интересное время. На неподготовленное, даже наивное в своей непросвещённости общество хлынул поток запретных знаний. На поверхность вынесло много взбаламученной пены. В этом потоке утонуло немало искренне ищущих.

– И кто же открывал шлюзы? – уточнил Герман.

– Это были люди, тяготевшие к очень опасным и тёмным практикам. Тантра, магия, кабала – самое безобидное, чем мы там занимались. Вернее, пробовали, экспериментировали...

– Кто "мы"? Кто возглавлял это общество?

Лицо Фингеля приняло выражение благоговейного ужаса.

– Её звали Лигана. Но мы все были скорее её жертвами, а не попутчиками!

– Так это была женщина? Необычное имя. Или это прозвище?

– О! Это анаграмма других её имён!

– Вы хотите сказать, что она меняла имена? – уточнил Сороковых.

– Не имена, а сущности! – усмехнулся Фингель. – Она многолика, как Геката, называемая Тривией, богиней трёх дорог.

Герман как можно мягче, стараясь не "пережать" раньше времени, уточнил:

– Сущности? Вы не могли бы пояснить?

Фингель судорожно сглотнул.

– Пытаясь воссоздать её родословную, я перевернул горы архивов, перечитал тысячи писем и по косвенным свидетельствам отследил максимально возможное количество её материализаций. Вот, например, одна из последних инкарнаций: Галина Новак-Липницкая, дворянка, жена камергера его величества, масона, главы петербургского спиритического кружка. Она и сама была сильным медиумом. Окультизм был тогда моден. Липницкая примыкала то к кругу Блаватской, то к Кардеку, то к Гурджиеву, а потом создала собственную ложу "Тривия Перепутий". Но её мало увлекали идеи изучения теории эзотерической традиции, она была одержима идеей реализации власти, обретаемой адептом, идущим по пути Тривии. Чёрная магия, колдовство, ночные прогулки среди могил, разведение галлюциногенных растений и собак древних пород – вот, чем она занималась со своими последователями. Она даже совершила паломничество в Лагину – это в турецкой провинции Могла – месту поклонения Гекате. И ей тогда почти удалось открыть "окно" в мир мёртвых! Но что-то пошло не так, и она вновь исчезла. А в веке двадцатом она воплотилась в Лине Ган, выдававшей себя за ясновидящую и экстрасенса. Вы следите за моей мыслью, молодой человек? Галина, Ги́ла Наам, Ли́на Ган, Ла́гина... Лига́на! В её имени всегда присутствуют "ли", "га" и "на"!

– Илья Михайлович, мы ведь говорим о человеке, родившемся в государстве, где существовали записи гражданских состояний, прописка, в конце концов?

– Увы, молодой человек, она не плод моего воображения. В архиве Санкт-Петербургской палаты уголовного суда я обнаружил запись о том, что двадцать девятого апреля тысяча семьсот восемьдесят восьмого года некрещёная цыганка Ги́ла Наам была сожжена священником церкви апостола Фомы-на-Развилке отцом Филаретом. Он сжёг её во время чёрной мессы! Прямо в церкви!

– Так вы утверждаете, что тридцать лет назад в том заброшенном особняке с вами была некая Лина Ган, которую вы называли Лиганой?

– Она приказала нам называть её именно так, – пожал плечами Фингель.

– Допустим, – согласился Герман. – Итак, вы, аспирант Ленинградского политехнического института, вступили в это... общество?

– Как вы не понимаете! – глаза Фингеля лихорадочно блеснули. – Я был одержим ею! Она была неотразима! Это... Шумер, Ассирия, Каир, Багдад! Варварские афроазиатские черты. Какие-то мутации, многократные слияния рас! Поверьте, она уникальный гибрид, сочетающий сверхчувственность с чрезвычайно острым умом.

Герман достал из папки фоторобот, составленный со слов Сэйджи, и положил перед Фингелем:

– Вот портрет, составленный со слов человека, видевшего её.

– Это она! – ужаснулся старик.

– В таком случае она неплохо сохранилась, – усмехнулся Сороковых. – Вы уверены, что это именно та женщина, которую вы знали тридцать лет назад? Свидетель утверждает, что она не старше двадцати пяти.

Старик искоса взглянул на Германа:

– Никогда больше не появляйтесь в том доме, второй раз она вас не отпустит.

– Так кто она, откуда? Что она рассказывала о себе?

– Лигана говорила, что в колдовской культ её посвятили в возрасте двенадцати лет. Обряд инициации состоялся ночью на убывающей луне в глухом лесу, окруженном зыбкими топями.

Фингель указал на репродукцию, висевшую на стене.

– Это картина Арсения Викентьева. Примерно так всё и происходит. По сути, это и есть погружение в бездну. Её наставником был маг очень высокой степени – Великий Архонт. Это сложный извращённый ритуал, включающий надругательство над человеческим телом. Одним словом, что бы там не происходило, но в ту ночь девочки Лины Ган не стало, а в мир явилась... Лигана.

А старик-то поплыл, подумал Сороковых и как можно спокойнее задал следующий вопрос:

– Илья Михайлович, побольше конкретики, пожалуйста. Что именно произошло в Доме с химерами тогда, в девяностом, с вашей группой?

Фингель вдруг как-то обмяк, поник.

– С нами был один поэт, – пробормотал он. – Ганслик – его фамилия. Он разработал звуковую систему, с помощью которой можно выстраивать особые структуры, своего рода ключи к туннелям Сета, ведущим в потусторонний мир.

– Увы, но некоторых вещей я просто не понимаю, – сказал Сороковых.

– Видите ли, – объяснил Фингель. – Чтобы записать высшую формулу или заклинание, не найти ничего лучше стихотворной формы. Такова вековая практика. Правильно подобранная рифма может вызвать большой взрыв, в результате которого формируются и распадаются миры. Лигана говорила, что восемь из девяти необходимых ключей у неё уже есть и нужен последний, девятый. Но Ганслик требовал сделать его Великим Архонтом и пригрозил, что иначе не раскроет формулу. Вот тогда Лигана и прибегла к энвольтованию – воздействию на астральное и физическое тело с помощью его частиц или выделений. Это было страшно. Мучительно. Спазмы, затвердение мышц, судороги и как результат – окончательный распад. Она уничтожила упряма и увеличила свои силы! Я выжил каким-то чудом, но погрузился во тьму, перестав отличать день от ночи. А она... исчезла, как делала всегда.

– То есть она искала какие-то рифмы? – спросил Герман. – Видите ли, пропавший молодой человек тоже поэт. Может, там произошло что-то в этом роде?

– Вот именно. О, эта вечная проблема поиска источников энергии! Поэтическое творение – это топливо, которое требовалось Лигане. Тогда, в девяностом, она была опустошена и извлекала мою энергию для своих целей. Она уверяла, что обладает секретом идеального сексуального контроля, и, если я полностью покорюсь ей, она передаст этот секрет мне. А я был молод, самонадеян и... глуп. Поэтому вечером шестнадцатого ноября, в день Гекаты, я вошёл

вместе с ней в Дом с химерами. Я знаю, что там случилось неделю назад. Она провела серию магических ударов, потом, возможно, был полёт через "окно".

– Окно?

– Да. Глядя в любое окно, направляешь чувства в метафизические миры, – устало сказал Фингель и вдруг спросил. – Так вы видели её?

– Только силуэт. И ещё слышал собачий лай. Тогда, в девяностом, тоже были какие-то собаки?

– Это она! – воскликнул старик. – Ее всегда сопровождают волки и собаки. Лигана – это тульпа, порождённая мощной демонической волей. Что бы ни произошло тогда, в девяностом, но из того дома вышла она уже не человеком. Это неизвестная раса существ, которые вынуждены носить человеческие маски, скрывающие нечеловеческие черты.

Фингель взял со стола гримуар, нашёл нужную страницу и показал Герману рисунок. С разворота на него смотрело серое существо с раскосыми глазами и огромным черепом.

– Обратите внимание на нижний левый угол страницы. Видите, три символа? Это аллографы "ли", "га" и "на". Их можно соединять в любом порядке, варьируя сколь угодно: Лагина, Лигана, Лина Ган, Гила Наам, Ангали...

Губы Фингеля побелели.

– Вы не поверите, но это портрет с натуры, – прошептал он. – Никого не узнаете?

– Серые человечки? – усмехнулся Герман, хотя по спине пробежал холодок, этот человек начинал серьёзно его беспокоить.

В ответ Фингель издал вялый смешок.

– Вот, что я вам скажу, молодой человек: в том доме она оказалась не случайно. Она посвящена в высочайшие степени иерархии Тривии Перепутья. Думаю, её материализация находится в прямой связи именно с этой точкой пространства. Это очень подходящее место для подобных практик. Первые люди, представители кундской культуры эпохи мезолита, появились на территории Ленинградской области задолго до египетских пирамид. Чувствуете, какая хтоника? А вы знаете, что в начале прошлого века там совершались казни и там же хоронили казнённых? Секта каюков пророчествовала о конце света и пришествии Антихриста именно там. Именно там они вызывали Красного Дьявола! Это место – не что иное, как перекрёсток миров, лазейка в наш мир для тех, кто вынужден скрывать свою истинную личину, принимая человеческий облик.

Герман встал.

– Благодарю вас, но у меня очень мало времени.

– Вы правы, времени у вас мало. Возможно, вам ещё удастся спасти того юношу. Если вы видели её, значит, "окно" пока открыто.

Герман попрощался и вышел, но Фингель продолжал идти за ним, не переставая говорить:

– Появляется она косвенно, не всегда полностью. Сначала через касания. Потом обретает форму и становится живой. Она обязательно покажет себя в своей абсолютной форме! Три личности в одной – Тривия! Три сплетённых змеи! А потом будет яркая вспышка света, огромный белый шар, и потом вы поймёте, что...

"Сумасшедший старик, – думал Герман, стоя на улице. – Зря его из дурки выпустили".

Стемнело. Пятница шла к завершению. Но шанс спасти вечер и уикенд ещё оставался. Но для этого придётся найти рациональное объяснение необъяснимому.

Холодный воздух приятно освежал горячий лоб.

Итак, есть старый особняк и женщина, связанная с этим домом и со всем этим... бредом. И ещё. Ромэро в стихотворении назвал себя псом Гекаты. Выходит, старик из прошлого века и пацан из нынешнего несут почти одинаковую чёртову дичь.

Герман страстно мечтал о сигарете, стоя на тротуаре напротив Екатерининского сквера, темнеющего своими старыми и новыми тайнами. Ветер гонял по аллее одинокий сухой лист. Мостовая блестела от наледи. Кажется, подморозило.

3.

Сороковых связался с Акишевым:

– Ты где сейчас?

– Полчаса езды до центра.

– Тогда так, до Лисьего Носа я доберусь, а ты, как освободишься, подъезжай туда, забережь меня.

Герман поймал машину на площади Островского и довольно быстро доехал до дома с химерами.

Световые блики от фар отъезжающей машины проплыли по сохранившимся кое-где стёклам и утонули во тьме. Он был готов голову дать на отсечение, что чёртовы оккультисты прячут парня где-то в здании. Одна из оконных створок медленно открылась. В проёме возник женский силуэт.

"Вы-то мне и нужны, миледи", – подумал Герман и без колебаний направился к ограде, машинально положив правую руку на кобуру.

В центральных круглых медальонах чугунных ворот он узнал изображения, подсмотренные на полях гримуара Фингеля. В узком луче света металлическое кружево гербов деформировалось, превращаясь в собачьи головы, и преобразование это было стремительным. Он ещё раз посветил на гербы, на этот раз они напоминали рыла неведомых тварей. У него словно изменился фокус зрения.

"Химеры", – с ненавистью подумал Герман, смачно сплюнул и решительно пошёл в сторону дома.

Внутри было холоднее, чем на улице. Поднявшись по лестнице на один марш, он вдруг понял, что ступени ведут вниз и вглубь. Вдруг его опрокинуло навзничь, перевернуло, и он упал на большую кучу щебня и мелкой штукатурки. Щебёнка тут же зашевелилась под ним, осыпаясь, его затягивало в какую-то воронку. Судорожно хватаясь за всё, что попадалось под руку, он закапывал себя ещё глубже. И вдруг сорвался, полетел в пустоту, в темноту...

Очнулся, лёжа на спине. Полежал, вглядываясь во тьму, пока не заметил тонкую струнку света, пробивающегося сквозь узенькую щель. Встал, поднял руку, чтобы дотронуться до неё.

– Здесь нельзя выйти, – раздался женский голос.

В полоске света Герман разглядел её – закутанную во что-то тёмное, лица не видно, только глаза блестят.

– Раньше и этой щели не было, – добавила она, шевеля губами сквозь ткань.

– Раньше? А вы давно здесь?

– Не знаю.

– Вы здесь и ночуете? – спросил Герман.

– Я здесь сплю, – ответила она и, выпростав из-под тряпья руку, махнула куда-то в сторону. – Когда-то здесь было жарко, было много огня. Потом он весь выгорел. Теперь здесь тепло, темно и просторно, ты тоже найдешь себе место.

– Вы одна?

– Одна. Но теперь вдвоём будем.

Она кивком позвала его идти следом.

Сглотнув солоновато-горькую от крови слюну, Герман пошел за ней. Во мрак. Наощупь, вслепую, вытянув перед собой руки, спотыкаясь. Шёл на голос:

– Сюда! Сюда иди! Чувствуешь, здесь теплее?

Что-то похожее на тяжёлую дверь со скрипом отворилось, и, видимо, женщина тут же поднялась куда-то, потому что голос зазвучал сверху.

– До первой сферы здесь было жарко, и я очень хорошо жила.

Германа угнетала темнота, тошнило от какого-то приторного запаха.

– Я бы хотел уйти, – сказал он и почувствовал, как жалко, по-детски это прозвучало, примерно, как если бы он промямлил "я хочу домой, к мамочке".

Он разозлился на себя, на эту странную бабу, которая морочит ему голову, и полез в карман за фонарём, но когда зажётся свет, то никого не увидел, только закрытое окно темнело впереди.

Вдруг какой-то обломок ударил в стекло, звеня, посыпались осколки. В комнату ворвался сумасшедший ветер.

От неожиданности Сороковых вздрогнул. Потом бросился к окну, бормоча что-то вроде:

– Да вы охренели тут все! Вы вытолкнули парня в окно! Есть свидетель!

Задыхаясь от ярости, он задвигал шпингалетами, распахнул раму настежь и выглянул наружу. Там было темно и пусто. Только ветер, обжигающе холодный.

Позади послышался странный звук, то ли шелест, то ли шипение. Герман обернулся.

Из-под двери ползли какие-то испарения. В меняющихся очертаниях проявлялись контуры женского тела.

Перед ним возникла Лигана.

Именно такой Герман её и представлял.

Гибкое тело, сверкающее, как вынырнувший из воды дельфин. Чёрные глянцевые волосы, удлиненные влажные глаза, очень красный рот на бледном лице.

Она медленно шла к нему. Ветер бил её по лицу шлейфом чёрного покрывала.

Герман глупо уставился на неё. Она засмеялась. Потом стала касаться его одновременно в разных местах, как если бы у неё было три пары рук.

А потом заговорила... О своей жизни в Шумере, о том, что зачата она была во время сложного мистического ритуала, но подробнее о нём мать никогда ничего не рассказывала. Когда мать умерла, по вековым неписанным законам ей пришлось принять её бремя на себя. Потом, став знаменитой предсказательницей, она разбогатела и перебралась на запад...

Во время рассказа Лиганы Герман молчал, отрешённо глядя, как она разворачивает, распускает углы и линии комнаты, превращая куб в сферу. Он вдыхал испаряющуюся влагу, видел чудовищную растительность, красное небо, пылающее над огромным болотом, на дне которого – если у этой топи есть дно – лежат давно умершие и смотрят горячие чувственные сны.

Помещение стало огромным. В центре зала, на помосте, Герман увидел какого-то идола в виде трёх сплетённых змей с чётко и рельефно обозначенными чудовищными лицами Гекаты.

Тем временем Лигана, подобрав длинный шлейф и опершись рукой о его плечо, поставила одно колено на подоконник, второй ногой обхватила Германа вокруг живота. Он почувствовал, как кровь устремилась в пах.

У неё были мышцы удава. Герман взмок, но, стиснув зубы, выдавив сквозь них только тихое и непрерывное "м-м-м", но о пощаде не попросил.

Красивое лицо Лиганы стало злым – это ей явно не нравилось. Внезапно она отбросила его от себя, словно утратив интерес.

Он валялся на полу не в состоянии ни встать, ни говорить. Через несколько минут отнositельного покоя и тишины перевернулся на спину.

Стены и потолок сочились зеленоватой слизью. Вверху по гниющей балке что-то двигалось на четырёх конечностях. Что-то жёлто-зелёное, жирное. Одутловатые щёки, чёрные впадины глаз, сиплое дыхание. Приземистое, тяжёлое, это что-то спрыгнуло на пол, чавкнув пастью.

Герман никогда не видел такой огромной собаки.

Лигана склонилась над Германом. Глаза – два огромных синяка, на губах гнусная улыбка. – Поклоняешься ли ты каким-нибудь идолам? – обратилась она к нему.

Герман вдруг пришёл в ярость, и эта ярость придала ему сил. Он поднялся и заорал:

– Говори, где Ромэро, ты...

Он размахнулся и ударил по глумливой физиономии. Извернувшись, она укусила его за руку. Потекла кровь. Он задохнулся от злости и отвращения:

Она смотрела насмешливо. Её слова сочились ядом:

– Тебе нужен Ромэро? Так вот же он!

Она сложила трубочкой красные губы и громко свистнула.

Огромный, какой-то жёлто-зелёной гнойной окраски пёс, играя мышцами, медленно приближался к Лигане. Мускулистое тело блестело в жарких сполохах огня.

То, что Лигана вытворяла с псом прямо на глазах у Сороковых, она делала долго и усердно. В ней было что-то обезьянье, и дело не столько в невероятной гибкости, сколько в звериной непристойности поз и движений.

Германа затошнило.

Не прерывая вакханалии, Лигана выкрикивала:

– Нэг-хоер-гурав-зурга-а-доло-о!

И вдруг закружился хоровод мелкой пыли. Пылинки вспыхивали, сближаясь по широкой спирали. В один миг их вдруг притянуло друг к другу – резко, сильно, – и в точке соприкосновения вспыхнуло солнце.

Герман вглядывался в мерцающую сферу, пока не очутился внутри неё. Мышцы свело судорогой. Его переломило так, что, ткнувшись лицом в колени, он рухнул на четвереньки, высунул распухший язык, часто-часто дыша, и вдруг отчётливо понял, что больше никогда, никогда, никогда не увидит дочку. От этой мысли стало жутко, одиноко, тоскливо.

Он задрал голову и завыл. Громко, надривно, до хрипоты.

Акишев остановил "УАЗ", там, где кончился асфальт. Вышел из машины. Огляделся.

В лунном свете блестела разбитая бутылка, шуршал на ветру полиэтиленовый пакет. Вытянувшись цепочкой вдоль чугунной ограды, к особняку бежали собаки. За огромной серой псиной трусили штук шесть разномастных особей. Замыкало цепочку странное существо. Ни один кинолог не определил бы его породу. Продукт случайной селекции. Морда, покато перебегающая в череп, напоминала бультерьера. Длинные лапы, могучая грудь, широченная спина, посвёркивающие из глубины черепа жёлтые глаза, придающие ему свирепый вид.

Оставив дверь "УАЗа" открытой, Акишев медленно двинулся к воротам. Ледяной ветер трепал полы расстёгнутой куртки. Акишев застегнул молнию и боком протиснулся в приоткрытые створки ворот.

Он шёл к парадному, откуда доносился жуткий скрежет. На площадке возле ступенек, царапая когтями гранит, сидел тот самый пёс-мутант. Лобастая башка с глубокими провалами глазниц, в которых мерцали жёлтоватые зрачки, делали его страшнее собаки Баскервилей.

Зверь был совсем близко. Один бросок и...

– Сгинь, тварюга, – прошептал Акишев, медленно доставая пистолет.

Пёс поднялся, отошёл в сторону и снова сел, глядя Акишеву прямо в глаза. На морде темнела засохшая кровь.

Акишев судорожно сглотнул.

– А ну, пошёл отсюда, – негромко сказал он и взвёл курок.

Собака прижала уши, но осталась на месте.

Кроме страха быть разорванным в клочья, Акишев ощущал что-то ещё – неведомое, могущественное, тревожащее – в темноте дверного проёма. Акишев медленно шагнул к нему, но вдруг заметил сбоку серый промельк. Оглянулся.

Собаки окружали его с трёх сторон.

Акишев прислонился спиной к стене и вскинул ствол.

– У-у, тварюги...

Палец на спусковом крючке готов был в любую секунду сделать смертоносное движение, но тут из-за облаков выглянула полная луна.

Всё остальное Акишев видел как в страшном сне.

Вокруг ещё тёплого человеческого тела – над ним поднимался пар – собралась стая. Вожак, припав к горлу добычи, как запойный пьяница, цедил быстро густеющую кровь. Рядом драный пёс с грязными сосульками на хвосте с хрустом грыз кость. В стороне ещё один, лениво слизывал кровь с кисти человеческой руки. Третий, наскоро нахватавшийся парного мяса, растопырив передние лапы и нагнув башку, срыгивал на снег целые куски.

Ясная луна наблюдала за пиршеством псов-людоедов.

Прижавшись спиной к стене, Акишев покосился на мутанта, сидевшего на крыльце. Задрал голову, пёс заскулил протяжно и тонко, как будто изо всех сил старался выговорить какую-то страшную тайну.

Из грустных ореховых глаз к губам тянулись полосы слёз.

2021 г.

Елена Григорьева

Водяной

– Привет! – бойко бросил Влад, хлопнув Славу по раскрытой ладони, и развернулся к Ольге. – Доброе утро, мадам!

– Утро, – вяло ответила та, открывая дверь пассажирского сиденья и забираясь в тёплую машину.

Ехать им предстояло не больше часа. По трассе в предрассветной тьме стелился клочьями туман, деревья поднимались по бокам чёрными гигантами. Ольга зевала, жмурясь от непривычно раннего подъёма. Владик что-то тыкал в телефоне, одиноко ёрзая по заднему сиденью. Слава задумчиво следил за дорогой, изредка косясь на заспанную супругу. Вскоре он подал вправо, обогнал рейсовый автобус и, когда горизонта залило багрянцем, свернул на гравийный съезд. Машина подъехала к дачному посёлку, выросшему у двух озёр. Он-то и был их целью.

Раскатанный колёсами приговорк вёл к поляне. Роса поблёскивала на траве в рассветной дымке. Слева виднелась берёзовая роща. Меж стройными чёрно-белыми стволами проглядывали ветви рябины с вкраплениями ярко-красных пятен – спелых ягод. Справа росли четыре мощных тополя, чуть наклонившие стволы к воде. Дальше едва заметной колеёй дорога брала ещё правее – к зарослям акаций у самой кромки берега. За ними проглядывал канал, соединявший малое озеро с большим. Маленькое было глубоким, а большое – мельче, сплошь покрыто листьями кувшинки, ряской и клочками тины. Малое заросло тиной только по краям, и гладь воды расплавленной латунию сияла в утренней туманной желтизне.

– Ого, да мы одни! – вдруг хмыкнул Слава, пригибаясь и осматривая местность из-под солнечного козырька над водительским сиденьем.

– Не обольщайся. Скоро повалят туристы. Забраться бы поглубже! Вон, что там за кусты? – Владик махнул на заросли.

– Нет, – раздражённо буркнул Слава. – Как будем на воду спускаться? Давай лучше здесь, у навеса.

У тополей стояла грубая конструкция, сваренная из железных труб, выкрашенных ярко-красным. Скрещенные перекладыны поддерживали крышу из шифера. На вытоптанном пятачке под ней трава не росла.

"Раньше там были скамейки для туристов, – вспомнил Слава. – Видно, на случай дождя..."

– Так мы не на другое озеро? А купальщицам не помешаем? Или так интереснее – смотреть на бикини?

Влад хитро глянул на Ольгу, ожидая хоть какой-то реакции. Но та и ухом не повела, продолжая меланхолично пялиться на пейзаж.

– Какие купальщицы? Сентябрь! – фыркнул Слава, выруливая за павильон.

Машину болтало на кочках, трава сухо шуршала под колёсами.

– А вдруг? Пока ещё тепло...

– Ага, то-то во дворе все лужи позамерзли!

– Так это во дворе... А тут почти весна!

И правда, на поляне не осталось и следа утреннего морозца. Всё вокруг было мокрым и каким-то звонко-свежим. Под золотым солнцем ещё ярче выступили оранжевые пятна в тёмно-зелёных кронах.

Слава припарковался у шиферного навеса, передним бампером чуть не уткнувшись в крайний тополь. Друзья выбрались из машины и стали разгружать багажник. Даже Ольга помо-

гала, ёжась от утренней прохлады. Вскоре под навесом появился внушительный мангал, покрытый застарелыми пятнами сажи.

– А ничего, что мы вот так вот взяли и самое хорошее место заняли? – неуверенно спросил Слава.

– Кто раньше встал – того и тапки... – парировала Ольга.

– Да, только бы нас за шашлычную не приняли, – ехидно бросил Владик.

– В честь какого это праздника? Сегодня же не День авиации...

Ещё чуть-чуть, и на расстеленном полиэтилене появилась всякая всячина: упаковки одноразовых тарелок со стаканами, пара коробок сока, бутылки газированной воды, хлеб, контейнеры с салатом, ну и, конечно же, большой пластиковый бокс с заранее замаринованной свининой. Только стеклянная тара с напитками покрепче осталась в машине, чинно дожидаясь своего часа. Владик наполнил мангал углём, сбрызнул его жидкостью для розжига и повернулся к Славе.

– Ну всё окей! Дальше мы тут сами.

– Может, я хоть мясо на шампуры насажу? – предложил Слава.

– Да что ты, ей-богу? Ольга насадит! И ты забыл? Мы же в этот раз хотели на решётке!

– А, точно...

– Вот видишь! Всё почти готово. Мы разожжём угли и нажарим. Так что ты давай преображайся! – хохотнул Владик.

Слава растерянно огляделся, посмотрел на Ольгу и, получив от неё благосклонную улыбку, полез на заднее сиденье. Вскоре он предстал перед ними в водонепроницаемом костюме, ластах, сдвинутой на лоб маске и акваланге.

Дайвинг стал Славиным хобби ещё с их совместного отдыха за границей. А вот Владику не понравилось. После первого же погружения он заявил: "Больше в жизни туда не полезу!" А Ольга отказалась даже попробовать и смотрела на мужа как на сумасшедшего. Но вот Слава почти не заметил неудобств – таких, как дыхание через рот и давление воды на уши – сразу влюбился в бездну с её разноцветными обитателями и легко сдал экзамен, получив международный сертификат дайвера. Как только прилетел домой, погнал в спортивный магазин за снаряжением.

Теперь они изредка выезжали всё той же компанией: Слава, Ольга и Владик – их друг с университета. Эта поездка была пятой. Неплохо за три месяца, учитывая вечно несовпадающие графики и общую нехватку времени.

Влад с Ольгой прыснули со смеху, глядя на Славу.

– Что?! – картинно возмутился тот и тоже засмеялся.

Парни сняли с крыши машины надувную лодку, отнесли на берег. Там, где кончалась трава, спуск в воду был рыхлым, илистым, а если наступить на почву, она обваливалась вниз, поднимая со дна облачка буро-зелёной мути. Но обычно озеро было удивительно прозрачным, и, когда чья-нибудь тень ложилась на тёмное зеркало воды, оно оборачивалось мрачной бездной. Длинные зигзаги водорослей поднимались к его поверхности, и тина густо выстилала дно, уходившее под откос.

– Ого, да тут, похоже, сразу метр! Сапоги промокнут... – прищурившись, присвистнул Владик и взглянул на Славу.

– Ничего, я подтолкну. А ты держи весло.

Влад забрал у него коротенькое вёселко и шагнул в лодку, уже качавшуюся на воде.

– Эй, ты без меня не уплыви! – засмеялся Слава, глядя на друга.

Потом обернулся и позвал:

– Оль?

– Сейчас... – откликнулась она.

Нехотя поднявшись, она демонстративно прижала тыльную сторону ладони к пояснице, болезненно скривившись, вытерла ладони бумажным полотенцем и пошла к ним. Остановив-

пшись перед просиявшим Славой, она подняла руки, обхватила его щёки, смешно обжатые нейлоновым костюмом, и встала на цыпочки.

– Хорошего погружения! – сказала она, чмокнув его в губы.

– Хорошего погружения... – пробурчал Влад и подмигнул Ольге. – Смотри, утащит твоего мужа водяной!

Она послала ему колкий взгляд. Слава усмехнулся.

– Скажешь тоже... Не видели ещё здесь водяных! Может, я буду первым?

Друзья переглянулись и захохотали.

* * *

Лодка медленно уплывала от берега. Ольга постояла немного, махая ей вслед рукой, а другую – уперев в необъятное бедро. Потом вернулась к распаковке провианта. Вскоре, лениво работая веслом, приплыл обратно Владик. Подведя лодку вплотную к берегу, он весело крикнул Ольге: "Мадам, вы не поможете?!" – и кинул на траву конец толстого каната. Девушка вскочила и резво подбежала к озеру. Легко нагнувшись, она взяла канат и придержала лодку, чтобы Влад мог спокойно выйти на берег.

– Ну что, пойдём кашеварить? – спросил он улыбаясь. – Или?..

Он хотел снова подмигнуть ей, но этого не понадобилось. Полные руки Ольги обвились вокруг шеи Влада. Она поцеловала его.

– Эй, тише! – задышавшись, с улыбкой прошептал Влад. – Дай хоть лодку уберу!

Он водрузил надувную конструкцию обратно на крышу машины и надёжно привязал её.

– А это? – спросила Ольга, кивнув на продукты.

– Да мы же здесь, недалеко...

Он взял её за руку и повёл к зарослям камыша, но вдруг остановился.

– Тьфу, ё! – чертыхнулся он, увидев рыбака на соседнем берегу.

Тот сидел, нахохлившись, между высокими сухими стеблями в изогнутом устье пролива. Почти спиной к ним, сосредоточенно рассматривая замерший поплавок. Убедившись, что рыбака больше ничего не интересует, Влад, хитро улыбаясь, сжал двумя пальцами язычок молнии Ольгиной толстовки и потянул вниз. Они опустились в хрусткий стебель камыша.

* * *

Слава плыл в метре над озёрным дном, неспешно перебирая ластами в буро-зелёной мари, прорезанной светом фонаря. Крутил головой из стороны в сторону, рассматривая змеившиеся листья водорослей. Порою в мутной взвеси между ними мелькали маленькие силуэты, и Слава подплывал поближе, чтобы рассмотреть их, но они тут же прятались за извилистыми стеблями.

Только здесь, под покровом бездны, Слава чувствовал себя свободно. В последнее время жизнь у него совсем не клеилась, и он ощущал себя загнанным в угол. Вечные авралы на работе. Станные, "подвешенные" отношения с женой. Да ещё и Влад был теперь каким-то странным. Всё реже заходил к ним посидеть с бокалом сока или виски-колы, порубиться в игры на "Плейстейшн". Не звонил Славе, чтобы узнать, как у него дела, не мог придумать что-нибудь на выходные, не отправлял смешные стикеры ему в мессенджер. А когда они всё же собирались вместе, Влад толком не смотрел на Славу – косился вбок и повторял уже осточертевшие шутки. А вот зато на Ольгу он часто поглядывал, и как-то очень хитро, исподтишка. Если бы не дружба со студенческой скамьи и не искренняя вера во Влада, Слава давно бы начал что-то подозревать.

Все эти заботы и сомнения сдавили Славе рёбра, не давая продохнуть. Облегчение приходило к нему только под водой, с глотком кислородной смеси. Когда он лавировал между стеблями камыша, то словно становился беззаботной рыбой, которую беспокоят лишь две вещи: найти побольше вкусных водорослей для пропитания и выбраться из этих зарослей живым, не попавшись кому-нибудь на зуб. А порой ему казалось, что он сам настоящий хищник. Тогда он с жадностью выискивал себе достойного противника, которого можно подстеречь, перехитрить, поплыть за ним, загнать в заросли змеевидных водорослей, и, утвердившись в своём превосходстве, повергнуть в первобытный ужас. Заставить замереть, забиться в тень. Или наоборот – грозно раскинуть плавники, приняв оборонительную позу.

Вот и сейчас Слава предвкушал погоню. На миг он остановился, продул наполнившуюся водой маску, поудобнее закусил раструб дыхательного автомата и плавно заработал ластами. Вскоре он выплыл на "подводную поляну". Водорослей здесь почти не было. Только жиденькие метёлки тонких бурых нитей стелились по бугристому дну. И тут из-под илистой кочки высунулась треугольная голова с большими круглыми глазами.

"Может, сом? Голова плоская, но вроде без усов..."

Слава затаил дыхание, стараясь не шевелиться – не раскачивать луч фонаря, нещадно бьющий в морду существа.

А оно впало в ступор, замерев на месте. Затем его круглые глаза повернулись, и оно уставилось на Славу. Искривило пасть, дёрнув плавниками, и взвилось над собой столб грязи, скрывшись в иле. Славе показалось, что оно хитро ухмыльнулось.

Парень расстроился из-за глупо сорванной погони. Он глянул на подводные часы с компьютером для погружений.

"Глубина – пятнадцать метров. Значит, я смогу пробыть тут не больше часа. Но кислородной смеси в основном баллоне – минут на сорок. Правда, есть ещё запаска, но это – на крайняк..."

Он понадежнее перехватил фонарь, прикоснулся к чехлу ножа на поясе и поплыл дальше, стараясь расслабиться и дышать как можно реже, экономя воздух.

* * *

– Разжигать пора... – вяло сказала Ольга, потягиваясь в объятиях Влада.

– Да нет ещё. Только минут двадцать прошло...

– А вдруг он раньше вынырнет?

– Не вынырнет. Будет он зря тратить воздух?! Давай-ка лучше вот что...

Он оттолкнулся от подстилки из поломанного камыша и пошёл к машине. Открыв её с брелока, оставленного Славой, нырнул на заднее сиденье. Обратно к Ольге он вернулся, галантно протягивая ей стаканчик с прозрачной жидкостью. В другой руке была тарелка с мясной нарезкой. Ольга улыбнулась, нежно посмотрела на Влада и приняла угощение.

* * *

Слава двигался в мутной полутьме, глядя по сторонам. Ему очень хотелось улыбнуться, но мешал загубник дыхательного шланга. Он всё чаще замечал, что в кочках илистого дна скрываются головы рыб – таких же раздосадованных, как и та, которую он спугнул. А в низинах между буграми, где дно казалось твёрдым и надёжным, друг к другу липли раковины перловицы. Они были открыты и переливались радужным перламутром, но захлопывались, когда на них падал луч фонаря.

Прошло ещё десять минут.

"Пора двигаться к берегу, – подумал Слава. – Компас говорит, что мне направо".

Он стал неспешно заворачивать, изгибаясь всем телом и подгребая свободной рукой. Вокруг была всё та же буро-зелёная мгла, но теперь луч высвечивал в ней крупные желтоватые хлопья, как снег, вихрившиеся вокруг Славы. Вдруг в этой взвеси промелькнул серебристый блик и снова скрылся в палевой метели.

"Занятно! – едва не вслух выпалил Слава, но вовремя вспомнил о дыхании и поплыл быстрее. – Минуты три до берега. Воздух можно уже не экономить!"

И тут в столб света прямо перед ним ворвалась щука. Нагло глянула, нацелив прямо на него острую морду. Метнулась в сторону, круто извернувшись, ударила по воде хвостом.

"Вот он, мой противник! – возликовал Слава. – Куда ж ты? Не уйдёшь!" – и бросился за рыбой.

Он бешено работал ластами, разгоняя комковатую пелену, преследуя блестящий силуэт. Тот кинулся влево – Слава повернул туда же. Тот ушёл правее – парень скорректировал свой путь, чтобы не упустить его. В какой-то момент он почти что потерял рыбину и чуть не сдался. Но тут она опять вынырнула из тьмы, развернулась к Славе, будто поманив, и пустилась наутёк, вильнув хвостом.

Спутанные ключья водорослей мелькали по бокам, обзор застилала круговерть белёсой взвеси, но Слава видел только яркий силуэт, шустро орудующий плавниками. Парень следовал за ним упрямо, неотступно, лишь изредка поглядывая на компас, уверенный, что движется к берегу. Дно уходило вверх под небольшим углом, и то и дело там попадались гладкие выпуклые камни.

"Точно берег! Вон и бутылок накидали!"

Бездна вокруг стала проясняться. Вода наполнилась зелёным свечением. Глубиномер на запястье завибрировал: начался подъём. Слава понял, что ему надо сбавить темп, чтобы не нарушать правила декомпрессии. Но щука всё вертелась перед ним, дразня и будто бы вовсе не пытаясь избавиться от своего преследователя. Слава принял вызов.

И тут же замер. Крупные пучки водорослей мрачно темнели там, куда улепётывала щука, сливались в бурю завесу. Они словно очерчивали контуры чьих-то владений. Слава подумал, что ничего хорошего эта подводная чаща не предвещает. Наоборот, очень неприятно будет запутаться в водорослях на исходе дыхательной смеси. Он выбросил руки в стороны, резко затормозил и завалился на бок, пытаясь изменить направление движения. Поздно.

Щука вдруг дёрнулась и метнулась вправо, будто не желая попасться в цепкие заросли. И вдруг её силуэт растаял, рассыпавшись ключьями тумана, и из него, стремительно вобрав в себя молочный дым, возник какой-то другой. Дымка сгустилась в облако мрака. Тёмная фигура выросла перед Славой, заслонив собой подводную рощу и поглотив блеск солнца в вышине.

Парень отпрянул. Судорожно ударил по воде ластами, ощутив под рёбрами острый укол страха. Но, даже испугавшись, Слава заметил, что луч фонаря не осветил фигуру, а словно потонул в ней. Силуэт будто бы жадно поглощал весь свет, втягивая его внутрь и растворяя в вязкой черноте. А ещё парню показалось, что фигура напоминает тень сгорбленного человека. Тень, курящуюся дымными завитками. И на её вершине мертвенной голубизной светится лицо. Это овал, но вытянутый не вертикально, а горизонтально. В нижней его части виднелась некая косая щель – намёк на рот. Огромные выпученные глаза вращались в разные стороны, словно старались выхватить из бездны каждого её обитателя, не упустив из виду и непрошеного гостя.

Слава кое-как развернулся. Бросился назад, задыхаясь в раскалённом кольце боли и чуть не выплюнув раструб респиратора. Водная муть взорвалась перед ним россыпью пузырей. Но тут его рывок остановил удар. Что-то цепко скользнуло по затылку, почти сорвав с головы шлем. Слава едва не уронил фонарик, но успел поймать его за ремешок.

Парень так и не понял, что произошло. Брыкаясь, он яростно бил по воде ногами, но не двигался с места. Луч света беспорядочно метался по воде, освещая то водоросли, то белёсую взвесь. Слава не мог даже оглядеться и посмотреть, что же его держит. Какое-то время он

барахтался, метался в ужасе, часто дышал и тратил кислород. Потом пришёл в себя и уже осознанно дёрнулся назад, пытаясь вырваться.

Ничего не вышло. Паника снова захлестнула его. Слава конвульсивно завертелся, глядя по сторонам. В илистой пелене виднелись контуры каната. От каната поднимались вверх мелкие верёвочные ячейки. Слава понял, что зацепился аквалангом за край рыбацкой сети.

* * *

Ольга с Владом были уже невменяемы. Второй стакан водки пролетел за воротник следом за первым, третий – за вторым. Тарелка с закусом валялась в камышах, а голова Ольги вяло перекачивалась по плечу её тайного кавалера. Девушка шарила вокруг красными глазами.

– Вла-а-ад, – еле промычала она, – а где Славик?

– А-а-а, ныряет, – заплетающимся языком ответил тот. – Не ма-а-аленький... Сам выплывет...

Мимо прошёл рыбак в выцветшей штормовке, с удочкой и ведёрком, полным карасей. "ТЬфу!" – с искренним отвращением бросил он и удалился, вернув парочке её туманное уединение.

* * *

"Ну дурак!.. – мысленно ругал себя Слава, заведя руку за спину и ощупывая вентиль акваланга. – Надо же быть таким идиотом! Невнимательным, импульсивным... Поплыл за щукой! Померещилось чёрт-те что! Небось после шуточек Влада. Попал теперь в эти силки... Ладно хоть акваланг ещё цел! Вроде бы ничего не сорвало. Сейчас отцепим..."

В толстых нейлоновых перчатках он с трудом нащупал жгуты, обвившиеся вокруг вентиля кислородного баллона. Попытался просунуть пальцы под образовавшуюся петлю, не повернув при этом вентиль. Но рука в перчатке действовала неуклюже: не ощущала мелких деталей. И он не мог помочь себе второй, занятой фонарём. Согнувшись, парень подтянул к себе ноги и сжал фонарь коленями.

Он щупал вентили и шланги, подёргивал обвивавшие их нити, пытаясь их поддеть и скинуть, но ничего не выходило. Капроновые верёвки накрепко напутались на трубчатые сочленения. Слава глянул на часы.

"Сорок пять минут. Вышло время безопасного погружения. И воздух скоро кончится. Правда, есть маленькая запаска – "пони-ботл". Но это не больше, чем минут на десять... Надо выбирать!"

Он колебался между двумя вариантами.

"Снять перчатки, чтобы распутать сеть? А если потеряю? Жалко... Зажать между коленями? Уроню фонарь!.. Ладно. Лучше по-другому... Ох, прости меня, неведомый рыбак..."

Он снял с пояса нож, завёл руку за спину и стал подковыривать пальцами верёвки, чтобы их разрезать.

Перчатки сильно мешали. Нож соскальзывал. Лезвие почти не резало туго натянутый капрон, промахивалось мимо нужной петли. Мысленно ругнувшись, парень сбросил одну перчатку, потом вторую, с грустью наблюдая, как они, медленно кружась, падают во мглу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.